

М.О. Меньшиков

ИЗ ПИСЕМ К БЛИЖНИМ

ИЗ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ
МЫСЛИ

М.О. Меньшиков

ИЗ ПИСЕМ К БЛИЖНИМ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1991

ББК 68
М51

Составитель *М. Б. Поспелов*

Меньшиков М. О.
М51 Из писем к ближним. — М.: Воениздат, 1991. — 224 с. — (Из истории отечественной военной мысли).
ISBN 5—203—01267—9.

Усилиями целой когорты публицистов определенного толка понятия «национальное» и «патриотическое» применительно к великой нации стали ругательными. Какими мыслями жили русские «националисты» начала века? Какие цели перед собой ставили? Насколько интернационалистским был сам их национализм? Во всем этом разобраться помогут публикуемые впервые за годы Советской власти статьи русского отставного штабс-капитана, известного журналиста М. О. Меньшикова, расстрелянного в 1918 году.

М $\frac{1301000000-142}{068(02)-91}$ КБ—48—8—1990 ББК 68

ISBN 5—203—01267—9

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Искать аналогии в истории — дело сложное, подчас опасное, но совершенно необходимое. Ну хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок предков. Опасно же это дело потому, что далеко не всем по душе отказ от ранее приклеенных ярлыков, которыми изобиловало то, что осталось нам взамен истинной новейшей истории России.

И вот в наши дни появилась некоторая надежда на реставрацию этой истории. Но сама история — это сумма судеб миллионов и миллионов людей, многие из которых, в свое время весьма известные, теперь оказались забытыми, а то и оклеветанными. Реставрировать историю — значит восстановить память о них.

Одним из таких людей был русский публицист, отставной флотский офицер Михаил Осипович Меньшиков. Почему же нам представляется вполне целесообразным познакомить современного читателя с его творческим наследием? Да потому, что началом всех начал для Михаила Осиповича были государственность, нация, отечество, то есть те самые понятия, которые священны, должны быть священными, для каждого гражданина, и прежде всего для воинов, защитников земли своей во все времена. Те самые понятия, которые подвергаются особо ожесточенным атакам в периоды социальной нестабильности с обычной целью — разъединить, растащить, поживиться. Думается, что сегодня будет вполне уместно обратиться еще раз к мыслям об отечестве, духовности и нравственности нации, армии.

Составитель и автор предисловия, по профессии не литератор, не историк, позволил себе опираться на мнения и использовать статьи специалистов в области литературоведения и истории М. Лобанова, П. Горелова, А. Гумерова, А. Каплина и других (разумеется, с их любезного согласия). Надеюсь, что это повысит

компетентность оценок и их объективность, в отсутствии которой автора сих строк могут обвинить как прямого потомка Меньшикова. Но ведь любому потомку не возбраняется по призыву революционного поэта «словарей проверить поплавки». Тем более что, говоря о Меньшикове, послереволюционные словари высказывались весьма бранчливо и лживо, в последнее же время и вовсе перестали вспоминать о нем. А в дни потрясений 1917—1918 годов, после сугубо неверного, произнесенного одним из вождей революции определения-ярлыка «верный пес царской черной сотни» логичным и трагическим продолжением было свинцовое многоточие, прошившее сердце журналиста при его расстреле без суда и следствия 20 сентября 1918 года на берегу Валдайского озера, среди бела дня, почти на глазах у перепуганных «валдашей» и шестерых малолетних детей М. О. Меньшикова... По свидетельству очевидцев, Михаил Осипович перед смертью молился на Иверский монастырь, хорошо видный с места расстрела.

Он очень любил Валдай, Валдайское озеро, дивный Иверский монастырь за озером, обретал здесь покой, счастье в своих самозабвенно любимых детях, великую радость общения со своими родными, ближними, с друзьями, навещавшими его в Валдае. Валдайский дом Меньшиков купил в 1913 году как дачу. Сюда он приезжал с семьей каждое лето.

В начале 1917 года Меньшиков был фактически отстранен от работы в «Новом времени». Наследники А. С. Суворина —издателя крупнейшей газеты — после его смерти стали распродавать наследство — газету случайным для русской журналистики людям. Тогда впервые Меньшиковы остались в Валдае на зиму 1917/18 года.

В 20-е годы овдовевшая в одночасье Мария Владимировна Меньшикова с невыразимыми трудностями поднимала детей на ноги.

* * *

М. О. Меньшиков родился 25 сентября по старому (6 октября по новому) стилю 1859 года в городе Новоржеве Псковской губернии, сравнительно недалеко

от Валдая. Его отец, Осип Семенович Меньшиков, имел низший гражданский чин коллежского регистратора, а родом был из семьи сельского священника. Мать, Ольга Андреевна, в девичестве Шишкина, была дочерью потомственного, но обедневшего дворянина, владельца небольшого сельца Юшково Опочецкого уезда. Жили Меньшиковы бедно, часто нуждаясь в самом необходимом. Снимали квартиру у домовладельцев Никитиных. Однако благодаря хозяйственности и недюжинному уму Ольги Андреевны кое-как сводили концы с концами. Мать несла все семейные тяготы, занималась, как могла, воспитанием детей. От избытка ли забот или по складу характера она была женщиной несколько нелюдимой, но не лишенной чувствительности и поэтического вкуса.

Осип Семенович, хотя и был умен, начитан, но жизнь вел беспечную. Он был на семь лет моложе жены.

Оба родителя были религиозны, очень любили природу.

В 1864 году Ольга Андреевна купила за 40 рублей крестьянскую избу с огородом. Вот в этой избе с большой русской печью, земляным полом, рублеными стенами и прошло Мишино сознательное детство. Он сохранил до мученической своей смерти воспоминания об этом времени, и радостные, а больше печальные. Невзгоды не покидали семью, Ольга Андреевна с трудом справлялась со всеми домашними хлопотами. Но были и добрые длинные вечера, когда за окном стонала осенняя непогода или бушевала снежная вьюга, дети забирались на теплую печку, тушили лампу, чтобы не тратить дорогой керосин, и все вместе с отцом и матерью долго пели любимые песни. Кончались эти вечера пением молитвы «Слава в Вышних Богу».

На шестом году Миша начал учиться. Учила его Ольга Андреевна сама. Воспитание детей Меньшиковых было проникнуто чрезвычайной религиозностью. Позднее Миша Меньшиков был отдан в Опочецкое уездное училище, которое окончил в 1873 году. В том же году при помощи дальнего родственника он поступает в Кронштадтское морское техническое училище.

После окончания морского училища молодой флотский офицер пишет письмо своему покровителю. Вот текст этого письма с некоторыми сокращениями:

«Считаю долгом сообщить Вам, что закончил курс в Техническом училище и 18 апреля (1878 года) произведен в 1-й военно-морской чин по нашему корпусу (в кондукторы корпуса флотских штурманов). Экзамены я выдержал порядочно: по 10 предметам я получил 12 баллов. 30 числа я был назначен на броненосный фрегат «Князь Пожарский», а 2 мая фрегат распрощался с Кронштадтом и ушел неизвестно куда и неизвестно на сколько времени. Секрет. Мы были в Дании, в Норвегии и теперь во Франции. Я получаю 108 рублей 50 коп. золотом в месяц. Это дает мне возможность, кроме своих прямых обязательств тратить несколько денег на осмотр чужих городов и примечательностей. Таким образом я теперь в Париже, осматриваю всемирную выставку. Итак я, видимо, вступил на новую дорогу... Все это явилось последствием Ваших хлопот».

Склонность к литературе М. Меньшиков проявил очень рано. Еще в середине семидесятых годов по его инициативе в Кронштадте выходил ученический журнал «Неделя». В 1883 году после плаваний и возвращения в Кронштадт Меньшиков познакомился и подружился с С. Я. Надсоном, который был моложе его на три года. Но это был первый профессиональный, к тому времени уже широко известный, писатель-поэт, который высоко оценил талант молодого офицера, новичка в литературе. Будучи уже безнадежно больным, Надсон приветливым словом и добрыми рекомендациями помогал Меньшикову. Вот выдержка из его письма, датированного 1885 годом: «Я зол на Вас за то, что Вы не верите в себя, в свой талант. Даже письмо Ваше художественно. Пишите — ибо это есть Ваша доля на земле. Жду томов от Вас...»

После окончания Кронштадтского училища и участия в нескольких дальних морских экспедициях Меньшиков получил звание инженера-гидрографа. В те годы он написал и опубликовал очерки «По портам Европы» (1884), специальные работы «Руководство к чтению морских карт русских и иностранных» (1891), «Лоции Абоских и восточной части Аландских шхер» (1898) и др.

В те же годы он начал заниматься и чисто журналистской деятельностью в «Кронштадтском вестнике», «Голосе», «Петербургских ведомостях» и, наконец, в газете «Неделя». В 1892 году, окончательно

осознав свое призвание, он выходит в отставку в чине штабс-капитана и становится постоянным корреспондентом, затем секретарем и ведущим литературным критиком и публицистом газеты и ее приложений. С сентября 1900 года фактически заведовал «Неделей». Помимо «Недели» активно сотрудничал в газете «Русь», журнале «Русская мысль» и др.

Последнее десятилетие XIX века для Меньшикова ознаменовано тем, что, войдя в литературный мир, он привлекает внимание читателей своими статьями и знакомится с многими знаменитыми писателями. Так, 24 декабря 1892 года Меньшиков записывает в дневнике: «Вчера Лесков сообщил, что Л. Толстой меня знает и любит, доволен моими статьями и желал бы со мной познакомиться. — Отчего вы не съездите? Нельзя, не видав океана, иметь о нем представление. Непременно съездите. — Обещал условиться с молодым Толстым (Львом Львовичем); когда он зайдет, чтобы встретиться вместе и он познакомит меня с ним». А вот запись от 30 мая 1893 года: «Эти два дня хожу в каком-то странном, небывалом настроении после письма Лескова, или точнее писем его от 16 и 27 мая (ст. ст.). В них он называет мои статьи не только превосходными и пр. и пр., но категорически говорит о «сочувствии и радости» по поводу «силы и роста вашего серьезного ума и его благородного направления», о «благородной и смелой правде», «искренняя радость за то дарование, которое вы принесли с собою в мир» и пр. и даже «ваших прекрасных статей, доставляющих мне большое и чистое удовольствие. Я уверен, что не преувеличиваю ваших литературных сил, хотя и имею к ним давнюю любовь и пристрастие. Вы умны, деловиты и хорошо настроены и притом у вас есть опыт».

Дождался, наконец, что не кто-нибудь, а очень крупные писатели говорят мне такие вещи.

Боже, не оставь меня!..»

В июле 1893 года Меньшиков гостил у Лескова в Меррекюле, где читали рукопись Толстого «Царство Божие внутри нас». В тот же день Лесков писал Толстому: «Замечаний важных или даже интересных по оригинальности я не слышал ни от кого. Самое веское, что довелось слышать в этом, исходило от очень умного Меньшикова, которого Вы знаете и, как я слыхал от Льва Львовича, признаете за человека, одаренного

большими критическими способностями (что так и есть)».

В январе 1894 года Меньшиков был приглашен в дом Толстого в Москве. Толстой записал в дневнике: «Познакомился... с Волкенштейном и Меньшиковым: оба хорошие, добрые, умные последователи — особенно Меньшиков».

Отношения Меньшикова с Толстым, продолжавшиеся практически до конца жизни последнего, за пятнадцать с лишним лет претерпели существенные изменения. Сначала Меньшиков сам причислял себя к «толстовцам», помогал Толстому в организации помощи голодающим (1898 г.), выполнял его издательские поручения. Затем, когда философия, общественные позиции Толстого стали изменяться все более и более в сторону конфронтации с интересами государства, церкви, армии, Меньшиков не принял этих метаморфоз и счел своим долгом резко полемизировать с Толстым и окружавшими его «последователями». Однако Меньшиков всегда преклонялся перед гением Толстого-художника, любил его как великого и глубоко несчастного человека.

В самом конце 1891 года Меньшиков познакомился с Антоном Павловичем Чеховым.

Они были почти ровесниками. Меньшиков тогда еще носил морскую форму, и Чехов звал его «Морячок». Отношениям Меньшикова и Чехова, отличавшимся порою особенной теплотой, также суждено было продлиться до последних лет короткой жизни Чехова. За годы их знакомства они отправили друг другу примерно по полусотне писем. Письма Чехова к Меньшикову не раз публиковались в полных собраниях сочинений писателя. Письма Меньшикова хранятся в архивах.

Незадолго до своей смерти, в сентябре 1918 года, Меньшиков пишет в дневнике: «Никого я так не любил в жизни, как Толстого и Чехова...»

На рубеже веков «Неделя» прекратила свое существование. Сотрудники издательства должны были искать новую работу. Так получилось, что Меньшиков после некоторых колебаний связал свою судьбу с газетой Алексея Сергеевича Суворина «Новое время», где, как известно, сотрудничали и Антон Чехов, и его старший брат Александр, и популярный тогда и сей-

час В. В. Розанов, и многие другие известные журналисты и писатели.

Меньшиков был ведущим публицистом «Нового времени» с 1901 по 1917 год. Он вел в газете рубрику «Письма к ближним», публикуя еженедельно по две-три статьи, не считая больших воскресных фельетонов (так назывались тогда особенно острые, порою весьма серьезные материалы на темы дня). Меньшиков комплектовал затем свои статьи и фельетоны из рубрики «Письма к ближним» и выпускал их отдельными ежемесячными журнально-дневниковыми книжками.

Проблематика, глубоко исследованная Меньшиковым в «Письмах к ближним», поистине необозрима. Меньшиков обращался к широкому кругу духовно-нравственных, культурных, социальных, политических, бытовых и других вопросов. Характер выступлений определялся его общественно-политическим идеалом, который окончательно сложился в начале 90-х годов: крепкая власть с парламентским представительством и определенными конституционными свободами, способная защищать традиционные ценности России и оздоровить народную жизнь. Будучи одним из создателей «Всероссийского национального союза» (не путать с «Союзом русского народа»!, как это делают иногда недобросовестные или некомпетентные историки. — *М. П.*), в ряде статей Меньшиков сформулировал его цели: «...восстановление русской национальности не только как главенствующей, но и государственно-творческой». Отвергая деятельность революционных организаций как партий «русской смуты», Меньшиков одновременно выступал и против черносотенных групп с их ретроградной борьбой против обновления России. Много писал он о воинствующем политико-экономическом антирусском движении и о влиятельных в этом смысле доморощенных, а чаще пришлых революционерах-бунтовщиках, и о «желтой» прессе, виляющей от ультраконсерватизма до революционных призывов, и о богатых евреях-промышленниках, связанных с сионистскими кругами, с американским и европейским крупным капиталом. Он видел взаимную поддержку этих, для отвода глаз враждующих, сил и обвинял их в постепенном «внутреннем завоевании» России. Меньшиков неоднократно писал о народных нуждах: народном здоровье, пьянстве, преодолении бедности, сельском благоустройстве и т. д. и т. п.

Именно Меньшиков-нововременец подвергался самым ожесточенным нападкам в прессе. Чтобы понять всю степень ожесточенности нападок на него, необходимо иметь в виду, чем было «Новое время» для России и, следовательно, кем был для России человек, в течение 16 лет публиковавший в такой газете свои «Письма к ближним». В. В. Розанов писал: «Было впечатление, как бы других газет не было. ...Голос всех других газет — притом довольно читаемых — был до того глух в России, до того на них всех, кроме одного «Нового времени», не обращал никто внимания — не считались с ними, не отвечали им, не боялись их ругани и угроз и, увы, не радовались их похвалам и одобрениям, как бы они все печатались на «гектографе» и вообще домашним способом... как ученические школьные журнальчики. На много лет, на десятки лет — «Новое время» сделало неслышным ничей голос, кроме своего».

И еще одна поясняющая цитата: «Мне кажется, что великое дело «Нового времени» основывается на том, что в России рассматривали, и давно рассматривали, что это есть единственная газета собственно русская, не с «финляндским оттенком», не с «польским оттенком», не, особенно, с «еврейским оттенком», а своя, русская: и все нормально русские, просто русские, держатся ее, потому что иначе, взяв в руки другую газету, они, собственно, потеряли бы нечто в «русском в себе», а они этого — не хотят».

В своих статьях М. О. Меньшиков настойчиво утверждал, что народ должен управлять чиновниками, а не они им. С фактами в руках о казнокрадстве, погоне за чинами, безответственности, тупости, трусости, а то и прямой государственной, народной измене чиновников всех рангов он показывал смертельную опасность бюрократизма для России. «Наша бюрократия... свела историческую силу нации на нет».

По первым симптомам брожения в обществе Меньшикову стало понятно, что «революция и реакция одинаково не брезгливы» и что «серьезных, идейных, благородных революционеров всегда немного», а «заправилы «красной партии», которые последовательнее всего после иезуитов использовали лозунг «цель оправдывает средства», прибегают для захвата власти в стране не только к открытому террору, но и к преступлению во всех его разнообразных видах». Из это-

го следовал вывод: «оба крайние насилия — красное и черное — суть силы мертвые, несущие за собой смерть». Однако, по мнению Меньшикова, положение не было безвыходным, не надо было лишь ничего навязывать стране насильственно, «нужно представить форму правления той духовной сущности, что сложилась в данный момент».

М. О. Меньшиков был не против революции, но за революцию мирную, не отрывающую крестьянина от земли. И тем не менее он многих весьма часто раздражал: одних — мнимой революционностью; других — пугающим консерватизмом; третьих — гибкой, диалектической оценкой событий; четвертых — редким достоинством говорить обо всем смело, открыто, называть вещи своими именами. И почти никого не устраивал — последовательной патриотической программой, в центре которой была боль за Россию, защита интересов русского народа, его духовности, традиций, языка, национального самосознания, это, пожалуй, и было главной причиной неприятия со стороны тех, кому все это было чуждо, а иногда и ненавистно.

Это мы сейчас взялись цитировать А. И. Солженицына: «труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития» и далее, что именно она «требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания». А Михаил Осипович Меньшиков вот как об этом говорил еще в 1906 году: «По самой природе философской мысли ей всегда приходится сражаться на два фронта против крайностей утверждения и отрицания, которые одинаково ведут к абсурду. Честной политической мысли приходится всегда бороться с теми же логическими опасностями. Возьмите частный случай — «политику момента». Не я один, — надеюсь, огромное большинство здравомыслящих людей искренне думают, что для России одинаково опасна — как реакция, так и революция. Если разоблачаешь ложь справа, это не значит, что присоединяешься к лжи слева. А у нас установился со странным упорством именно этот глупый взгляд: если вы против революции, значит за реакцию, если против реакции, значит за революцию». Так кто же он был по своим политическим воззрениям? Ясно, что М. О. Меньшиков революционером не был, как не был в полной мере и консерватором. Хотя качества первого (меньше) и

второго (больше) в его деятельности просматриваются очевидно. Необходимо заметить, что консерватизм М. О. Меньшикова — консерватизм спасительный, то есть отстаиваются основания, с разрушением которых стремительно убывает органическая национальная жизнь.

Человек, считающий высшим законом всякой государственности здравый смысл, признаком истинно государственной политики — реальное дело, а основой государственности — здоровый труд народный; тот, кто тем самым обличал самые пышно обставленные демагогические прожекты, политическую спекуляцию, корыстный интерес групп и группок, выдаваемый за многовековые чаяния народа или за веления времени, был неудобен, мешал, и неприятие многократно умножалось тем, что отстаивал он свои убеждения с блеском, умом, талантом, неустрашимостью.

Меньшиков понимал — «погибающее государство не спасут ни пышные парламентские фразы, ни триумфы, ни салюты. Единственно, что может спасти его, — это трудовая лямка, то есть производительный, культурный труд». И ради пропаганды такого труда он не жалел ни сил, ни времени. Михаил Осипович убеждал: погибнет крестьянский двор — погибнет государство. Ведь, по его мнению, крестьянский двор — это маленькая Россия, микрокосм, имеющий те же основные признаки, что и государство.

Да, известнейший литературный критик и политический писатель, так высоко отмеченный классиками, вел репортаж с выставки крупного рогатого скота, писал о козоводстве, о самых обыденных заботах крестьянства и казачества, выступал популяризатором новых научных идей, ратовал за их скорейшее внедрение в народное хозяйство, старался пропагандировать и лучшее из мирового опыта, в том числе и американского.

Дело доходило до курьезов, но вовсе не смешных, и нам полезно вспомнить один из них. Л. Троцкий, полемизируя в «Киевской мысли» (1913 г.) с «Новым временем», критикует М. О. Меньшикова за то, что его статья «Две культуры» «целиком направлена к возвеличиванию культуры североамериканской республики за счет нашей собственной национальной культуры». Итак, поборник всемирной революции критикует человека, на котором к этому времени уже давно висел (помимо прочих) ярлык националиста-«черносо-

тенца» ...за возвеличивание чужой культуры за счет «нашей». Парадокс? Обыкновение того и последующих времен. Но как же сам Л. Троцкий понимал ценности «нашей» культуры, которую взялся защищать? Обратимся к его статье «Лев Толстой» (1908 г.): «Как жалка, в сущности, эта старая Россия со своим обделенным историей дворянством — без красивого сословного прошлого, без крестовых походов, без рыцарской любви и рыцарских турниров, даже без романтических грабежей на большой дороге; как нищ внутреннею красотою, как беспощадно ограблен сплошной, полузоологический быт ее крестьянских масс».

Что сказать лицемерному «жалетелю» и современным его последователям — громителям «патриархальщины»? — Было и «красивое сословное прошлое». Было рыцарство — казачество. Об этом не одну статью написал Меньшиков, видя в исподволь проводившемся уже тогда расказачивании падение одного из оплотов русской государственности. Что касается недостатка «романтических грабежей», то продразверстки, гражданская война, в которой так лихо, так людоедски показали себя Л. Троцкий и другие, затем раскулачивание с лихвой восполнили возможный «недостаток». Были в истории русской и крестовые походы, но не наши, а на нас, и в избытке (Мамай, Наполеон, Гитлер и т. п.). Мы много раз имели неприятное, может быть для некоторых, да и для нас, весьма тяжкое, но все-таки удовольствие пресекать эти походы. Различнейших алчных захватчиков, напирающих извне, исправно гнали взашей. И, наконец, о внутренних неурядицах и поражениях России, о «нищете внутренней красотою» и о «полузоологическом быте крестьянских масс». Действительно, в ту пору, провозглашая вслед за Лениным и Луначарским здравицы «классовому пролетарскому культурному строительству», многие злорадствовали, замечая упадок крестьянской (христианской!) тысячелетней культуры, и всеми силами способствовали расширению и углублению разрушительного процесса, полному развалу крестьянства, да и всей России в целом. Так, Н. Бухарин в своих «Злых заметках» спустя 19 лет лишь развивал злобу Л. Троцкого, находя в России только рабское прошлое, «изобилие дураков», «дряблость», «неуважение к труду» (перечень подобных характеристик своей Родины, своего народа у «любимца партии», главного в

20-е годы ее идеолога, велик и разнообразен). Создав из сложнейшей судьбы народов (или по-тогдашнему — «масс») России примитивный образ «клячи истории», эти новоявленные господа положения видели и ревностно исполняли одну лишь цель — «клячу истории» непременно требовалось загнать.

Сердце Меньшикова откликалось на все тревоги и заботы России. В этом сборнике читателю предложены в основном статьи военно-патриотические, а также несколько статей духовно-философских, мировоззренческих. В чем-то безусловно спорные, эти статьи тем не менее могут раскрыть для читателя мир наших дедов, жизнь страны нашей накануне жесточайшего потрясения. Ах! Кабы их было только «10 дней, которые потрясли мир». Нет, по сей день все трясет.

И последнее, что хотелось бы сказать. Авторы многих публицистических и политических статей и при жизни, а особенно после расстрела Меньшикова весьма резко критиковали его за национализм. Трудно все же понять, почему, по мнению некоторых, любовь к своей нации (или к какой-то другой), к народу, к стране, порой даже и патриотизм, то есть все, когда-то считавшееся добрым, сейчас — порок, почти преступление?

Впрочем, пусть во всем разберется сам читатель. А мы предлагаем его вниманию ряд статей Михаила Осиповича Меньшикова такими, какими они были напечатаны при его жизни в «Новом времени», — практически без купюр и комментариев, с сохранением присущей тому историческому периоду, для нас не всегда приемлемой терминологии. Думается, читатель сам решит, кем же был М. О. Меньшиков для России. Решит и, возможно, сделает какие-то новые и полезные выводы и для нашего сегодня.

1902 год

О ЗДОРОВИИ НАРОДНОМ

Январь 1902 г.

Что значит «здравствуйте!» — Народный лозунг

Вместо первого приветствия, позвольте, господа, сказать несколько слов о том, что значит «здравствуйте». Это слово слишком затаскано; оно потеряло свой первобытный смысл, сделалось безотчетным, превратилось наконец в жест, как множество слов нашего слишком древнего языка. Подобно драгоценному камню, грани которого обтерлись, это приветствие утратило игру лучей, на которую способна его природа. «Здравствуйте», т. е. будьте здоровы. Мне кажется, это приветствие мог придумать или больной народ, вечно мечтающий о здоровье, или народ очень мудрый. Из вежливости к родному народу допустим второе толкование.

Я как-то встретил девушку, которая поразила меня цветущим видом. Полная, статная, с розовым цветом ясного, мужественного лица. Это была начинающая и, как мне кажется, талантливая поэтесса, девушка красивая, хорошо образованная, которой улыбалось счастье. При первом же знакомстве я узнал от нее, что она ужасно больна. Во-первых, ее томила какая-то тайная, темная, грызущая сердце драма, одно из тех безумий, которые давят нестерпимее всякой физической боли. Кто кого бросил, не знаю, но на лице девушки минутами мелькали выражения сброшенной на дно пропасти. И сверх этого — у такой-то цветущей красавицы оказалась невозможная неврастения. Она жаловалась, что чувствует в голове свой мозг, что он представляется ей в виде огромного мохнатого паука, движения тонких лапок которого причиняют ей несказанные мучения. На этом мы поссорились с девушкой. Я вообще не люблю страданий ни телесных, ни душевных. Они мне кажутся чем-то глупым, недостой-

ным человека. Для меня страдание — возмутительное насилие над божеством, которое скрыто в нас и которое должно быть блаженно. Я с величайшею настойчивостью стал доказывать девушке, что ей нужно лечиться, что необходимо бросить Петербург, уйти из слишком нервных, слишком страстных и пряных декадентских кружков, где она вращалась, что ей надо на время совсем погрузиться на дно природы, в деревню, в океан чистого воздуха, ехать в тишину лесов или степей, в голубые горы или на живительный берег моря... Куда угодно, говорил я, только подальше от столичной праздности, утомительной хуже каторжного труда. Несколько лет тому назад я сам чуть не погиб от петербургского утомления и спасся только бегством из Петербурга. — Уезжайте, уезжайте!—говорил я барышне. Она обиделась. Она сочла меня материалистом. Она нашла, что я слишком много делаю чести телу, если связываю с ним жизнь духа. Мы поспорили резко и больше не встречались. Она не поняла, что мне страшно жаль было видеть ее разбитой. Точно красивая ваза в осколках. В ее годы, когда жизнь так прекрасна...

О, пожалуйста, зовите меня материалистом, но я все же до конца дней буду настаивать, что здоровье не только благо, но и нравственный долг наш. Здоровье та единица, говорит Фонтенель, которая одна дает значение остальным нулям жизни. Тело в наш хилый век не пользуется уважением, но это глубокая ошибка. Мы позабыли, что тело, союз органов, в своем целом есть орган счастья и что расстроенное оно делается органом, может быть, всех наших бедствий. До какой степени древние были умнее нас, до какой степени их взгляд на тело был благороднее! Они чувствовали, что тело — дух, что это — материальная видимость чего-то божественного, и вот они берегли тело, как священный храм, держали его в великой чистоте, всеми мерами заботясь о красоте, силе, свежести, непрерывной молодости организма. Это был культ, где ничего не было материалистического. Прекрасное тело было идеалом, к которому стремились с религиозной строгостью. Не для каких-либо низких целей, не для соблазна, а для восхищения ближних, для радости сознания, что вы чисты, что замысел природы в вас нашел свое высокое выражение. Мы, теперешние, изуродованные изгнанничеством из природы, больные, чах-

лые, — мы забыли о психологическом ощущении физического совершенства. Едва выйдя из детских лет, мы уже не знаем, что такое свежесть, что такое полнота здоровья, органическое равновесие. Мы довольствуемся каким ни на есть состоянием тела, не подозревая, какая эта измена счастью. Измятое тело есть измятый дух: какой бы ни был он тонкой природы, и может быть, чем более тонкой, тем томительнее ему покажется земля!

Мне иногда думается: почему мы все унылы, почему сто тридцать миллионов населения на необъятной равнине, среди океанов, лесов и гор не в силах создать земного рая? Может быть, просто потому, что в тысячелетних войнах и внутренней ожесточенной, хотя и бесшумной борьбе слишком утомилось наше племя, изболело, зачахло. Поглядите на народную толпу — что это в большинстве случаев за заморыши! Поглядите на культурную толпу — что за выродженцы! Недоедание внизу, переедание наверху; сверхработа внизу, сверхпраздность наверху. Крайности вызывают друг друга и сходятся. Падает физический тип, а с ним неотвратимо падает и духовный облик племени, когда-то богатырского. Падает мускульная сила, падает душевная крепость. Это и в самом деле «крепость», всенародная твердыня, как бы сдаваемая какому-то тайному врагу.

Единица, дающая смысл нулям. — Стихийное обеспечение

С тех пор как помнит история, великая равнина русская была ареной нашествий, завоеваний, подчинений, грабежей. Нежная ткань славянской колонизации беспрерывно рвалась войнами с Чудью и окрестными народами. На заре истории вся Русь была завоевана готами, через несколько столетий — казарами, потом варягами, потом татарами и Литвой. Едва оседала колония где-нибудь на берегах реки, как начиналось ее разорение и внешними, и внутренними врагами. Удельные и великие князья в период собирания, подобно татарам и Литве, иногда опустошали землю хуже урагана и землетрясения. Летописи пестрят выражениями: «пролил кровь как воду», «положил землю пусту». Нападали всегда врасплох; сильные защи-

щались и бывали избиваемы, слабые бежали — куда? У нас не было неприступных гор, — бежали в дремучие лесные трущобы, в непролазные тогдашние болота, в глушь непроходимую, где их ждала смерть — от пасти зверя, от жала «гнуса» или от голода. Надо знать, каких отчаянных усилий стоит расчистка леса или болота под поле и до какой степени изнурялись беглецы, спасая жизнь свою. Вернувшись на свое пепелище после погрома, они принуждены бывали влачить нищенское существование, питаться чуть не кореньями, пока снова не обзаводились хозяйством. Проходили годы — и новое «полюдье», новый набег. Естественно, что потомство такого населения должно было вырождаться. Оно плодилось, росло количественно, но качественная его сила шла на убыль. К тому времени, когда земля сложилась как политическое целое, народная масса была обессилена до такой степени, что сама шла в кабалу, отдавалась в рабство, и крепостное право создавалось само собой, без государственного участия. Государство приняло это народное учреждение и укрепило его, пока народ не окреп настолько, что ему стало тесно в нем. При последних царях московских народ отдохнул, но начавшееся при Петре I созидание мировой державы потребовало таких напряжений, что население едва выдержало. Ряд разорительных, кровопролитных войн, которые вела Россия последние два века, могли переутомить и более сильный народ. К сожалению, эпоха войн сменилась вооруженным миром, требующим жертв не менее войны. Весь избыток народной энергии идет на цели вне страны, — отсюда страшная отсталость внутри. Некогда и не на что стране заняться внутренним расстройством, и последнее стало выражаться в таких крайних бедствиях, как хронические неурожа опустошение лесов, почвы и вод, надвигание с востока пустыни, хроническое недоедание и подобное непрерывному мору — вымирание крестьянских детей, упадок древних промыслов народных — земледелия, скотоводства, рыболовства, крестьянского и кустарного ремесла. Европейский капитализм легко делает завоевания в стране, где культуре нельзя было сложиться, но докончив «процесс перераспределения», грубо разделив народ на горсть богачей и море нищих, сам капитализм чувствует себя в опасной пустоте, так как вконец обедневшая страна не дает рынка.

«Бедность не порок, но нищета — порок», — говорит Достоевский устами своего героя. Нищета — глубокий порок народный, и всего ужаснее тот вид нищеты, который зовется болезненностью. Я согласен был бы видеть народ наш навеки в бревенчатых избах, в холщовых рубахах, в лаптях, но здоровым, сильным, долговечным, среди поднимающейся крепкой детворы, не знающим устали и печали. Такова была древняя мужицкая Русь, создавшая Россию. Но то же население в пиджаках и кофточках, в общих казармах и подвалах, с землистыми желтыми лицами, чахлое, истерическое, захудалое — мне кажется уже просто не русским, не родным каким-то. Смертельно жаль родного чахоточного, но в то же время чувствуешь, что это человек уходящий, делающийся для жизни чужим, не нужным ей.

Всем этим я хочу поставить основной взгляд свой на наше теперешнее положение. Чего мы должны желать народу? Мы, «командующие классы», — об этом столько говорим и рассуждаем. Одни говорят о Маньчжурии, о Монголии, о выходе в теплые океаны, о владычестве в Царьграде, — другие кричат о насаждении фабрик, третьи — о принудительном обучении грамоте и счету, полагая, что грамотный народ тотчас сделается европейцем. Я же главным лозунгом народной жизни предложил бы скромное «будь здоров», обеспечение народу прежде всего физического здоровья. Для этого необходимы не Кувейт на Персидском море и не Великая стена в Китае, а обеспечение стихийное, т. е. чтобы в каждой деревне каждой семье было достаточно земли и воды. Земля и вода дают хлеб, хлеб дает здоровье, здоровье — само по себе счастье — дает самые разнообразные потоки счастья до тонкого вдохновения Чехова, Репина или Комиссаржевской, до глубины толстовского духа, до учености Менделеева. Хлебное обеспечение страны я считаю самой высокой национальной задачей, самой нравственной. А Корея, Кувейт, Индия и им подобные страны пусть будут ограждены VIII-ю заповедью — и мы не понесем за них расплаты.

Я здесь лишь мимолетно касаюсь огромного вопроса о народном здоровье. Всем известно, что нигде в Европе (и, может быть, даже в Азии) нет такой ужасающей смертности, как у нас. Недавно на съезде естествоиспытателей в Петербурге, в соединенном со-

брании секций научной медицины и гигиены доктор Поляк сделал расчет, чего стоят государству повышенная болезненность и повышенная смертность. Только в одних польских губерниях, если бы удалось понизить смертность с 26 до 20 проц., — в некоторых странах она гораздо ниже, — то это уже дало бы до 33 миллионов сбережений. Вся же Россия при подобном же оздоровлении сберегла бы не менее полутора миллиарда рублей в год, т. е. почти весь свой бюджет. Доктор Поляк справедливо взывает о необходимости санитарной реформы как серьезного государственного дела. Помогите выздороветь населению, и, может быть, это явится панацеей от всех бед. Удесятерятся народные силы, закипит работа и поднимется замерший народный дух. Как цветущая девушка, о которой я говорил, — страна может быть прекрасна и обильна, но нездорова; и в этом случае ни молодость, ни свежесть ее не дадут ей счастья, на которое она имеет право. Нездоровье народное нужно лечить: даже в легких формах оно предвестник смерти. Пусть более обеспеченные народы приветствуют друг друга: «Добрый день!» То есть да будет счастливо прожит этот ближайший миг жизни. Мы же будем помнить, что без здоровья не может быть счастливым ни один миг жизни. «Будьте здоровы!» — сочтем это приветствие за основной народный лозунг, за выражение неотложной потребности нации.

Христос — целитель

Говорят: заботиться о плоти непристойно; это — языческая забота. Наше царство — дух; ему должно быть посвящено все внимание, все жертвы!

Так. Но однако Христос был не только великий Пророк (Мф. 16), но и великий целитель. Проповедуя царство духа, он неизменно восстановлял и жизнь тела и апостолам завещал вместе с долгом проповеди дар целения. Подумайте внимательно; вы убедитесь, что безусловно невозможно нравственное воскресение без телесного, и в этом самый смысл пришествия Богочеловека. Он пришел не разрушить плоть — творение Бога, а восстановить ее поврежденный закон, данный от века, показать в своем лице божественную меру этой плоти, облагороженную ее норму. Не для от-

деления духа от плоти, а для их общего спасения пришел Христос. Отсюда требование чистоты телесной, воздержания и борьбы с соблазнами. «Будьте совершенны, как Отец небесный», «Не заботьтесь о завтрашнем дне», «Если око твое соблазняет тебя — вырви его», «Кто хочет спасти душу свою, погубит ее». Эта проповедь обуздания плоти есть проповедь ее спасения. Аскетизм христианский, как стоический, буддийский, как вообще аскетизм философский, не есть преследование тела, не издевательство над ним, не мучение без смысла и цели, — а есть лишь возвращение плоти к ее первозданной свежести. Чистота есть освобождение от страстей, которые суть болезни тела. Плоть разнузданная, страстная, ожесточенная есть извращение, упадок типа, вырождение. Плоть, обузданная духом, наоборот, достигает своего физического совершенства, — она — как разлившаяся и вновь вошедшая в свое русло река — принимает свои подлинные очертания, свой сотворенный облик. Укрощенная, она не требует более укрощения, она делается уравновешенной, спокойной, блаженной, она впервые постигает прелесть удовлетворения полного, радость невинности и чистоты. Не будем говорить об изуверах восточной мистики, о факирах, гипнотизирующих себя добровольными пытками до потери разума. В проповеди Христа нет жестокости. «Спаситель тела», как его называет Апостол (Ефес. V, 23), Христос дал меру спасительного отношения к телу, не забыв о нем и в молитве Господней. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». То, что действительно необходимо для здоровья тела, указано как желание священное, наряду с желанием Царства Божия и торжества воли Его. Таким образом, ничего нет нехристианского в тщательной заботе о здоровье, ничего нет «материалистического». Напротив, пренебрежение к телу должно считаться явным неуважением к Богу, кощунством в храме. Как от оскверненного алтаря отходит святыня, так от тела, преступившего свой закон, отходит благодать счастья. Отходит дух.

Итак, говоря: «здравствуйте!» — будем каждый раз помнить, что это не звук пустой. В жизни человеческой после молитвы нет священнее минуты встречи с человеком: это миг, когда начинается наша ответственность за счастье ближних, работа добра и зла. И первое слово, которое мы говорим друг другу, дол-

жно быть значительно; им как бы начинается своего рода богослужение. Это своего рода «Благословенно царство» в завязывающихся отношениях, которые кончатся неизвестно как и когда. Народная мудрость недаром выработала эту глубокую формулу: «здравствуйте». Будьте здоровыми, будьте такими, какими вы сотворены.

ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ

Январь 1902 г.

Буква S, перебежавшая океан. — Всемирный собор народов

Недавно Англия и Америка, эти разделенные океаном Геркулесовы столпы нашей цивилизации, были потрясены новостью, прямо поразительной. Буква S азбуки Морзе без проволоки перешла через океан.

Одна буква пока... Но зато она перебежала океан множество раз, открывая путь другим буквам, т. е. бесконечному потоку человеческой речи. Случилось это в шесть часов утра 11 декабря (по новому стилю), в день святого Стефана. Тихо и бесшумно, в один из сереньких последних дней, когда каждый был занят своим микроскопическим делом, совершилось одно из величайших событий, открывающих, может быть, новую эру в человечестве. В какое удивительное время мы живем!

«Маркони, — говорит телеграмма, — намерен устроить правильные станции на обеих сторонах Атлантического океана, а затем устроить телеграфирование и через Тихий океан».

Судьбою нескольких букв, перебежавших через океан на высоте Исаакиевского собора, взволнованы теперь в Европе те общественные слои, где великие чудеса Божии — научные открытия — не проходят мимо, как иногда у нас — бесследно и незаметно. И просто образованные люди, и деятели промышленного обмена там, на Западе, уже мечтают о новом, необыкновенном, бесконечно тонком объединении человечества путем атмосферного телеграфа. Вкратце речь идет о том, чтобы все могли слышать всех по всему пространству Земли почти с тем же удобством, как в одном общем зале. Говорить, что это мечта, теперь наивно, даже кощунственно. Слишком блистательно про-

явлено за последние десятилетия могущество науки, и заранее решать за нее, с чем она не может справиться, просто дерзко. О, она все может, или почти все! Именно этот путь кропотливого исследования, ощупывания почти слепого, путь настойчивого, как сама природа, разыскания тайн, может быть, это именно и есть единственный открытый человеческому роду путь к небу. Может быть, глубоко скромное и трудовое движение науки по нынешнему состоянию душ человеческих и есть та лестница, усеянная восходящими духами, которая снилась Иакову в Вефиле. Для меня неоспоримо, что истинная наука в корне своем религиозна, и, открывая познания в глубине природы, она ведет нас к Отцу светов, куда все мы безотчетно, как цветы к солнцу, обращены душой.

Если сбудется воздушное соединение, то, подумайте, какие открываются горизонты! Земной шар, облеченный столь нежною оболочкой, как воздух, обвеян беспредельно тонкою тканью магнитных токов, и вот наконец все эти бесчисленные нити, до сих пор непостижимые, эти дрожания эфира заговорят человеческою речью, засветятся мыслью. Если англичанин из Корнвалиса может разговаривать с американцами в Массачусетсе, то дайте срок — подобный же разговор станет возможен для каждого с каждым и, может быть, по всей поверхности нашей планеты. Говорят: горы, леса, здания мешают беспроволочной передаче. Но это устранимое препятствие: воздушные змеи и шары поднимаются выше гор. Лишь бы была между двумя пунктами физическая среда, и между ними возможна передача мысли.

Уже и теперь — с электрическими дорогами, телеграфами, телефонами человечество достигло поразительной степени объединения. Еще так недавно рассеянное и разделенное на особые миры, почти чуждые друг другу, человечество только теперь делается единым, и мечта пророков становится несомненной реальностью. Человечество превращается во всемирный собор, где есть, правда, враждебные партии в виде отдельных наций и сословий, но где уже возможен голос, всеми единовременно слышимый, возможно одновременное внимание к одной и той же мысли. Это много значит. Последствия воздушного телеграфа должны быть неисчислимы и, может быть, будут более важны, чем ожидаемого воздухоплавания. Представь-

те, что этот телеграф усовершенствуют и упростят до степени всем доступной вещи, до степени карманных часов, носимых каждым при себе, или какой-нибудь крохотной машинки, вставляемой в ухо. Вы приводите в действие машинку и слышите мысль, подаваемую всему человечеству из Парижа, Лондона, Петербурга, Пекина, Нью-Йорка. При содействии другой, столь же простой машинки вы подаете свою мысль, которую могут услышать одновременно на антиподах. Вы скажете — химера! Но кто знает, — мы живем в век, когда мир делается волшебным, когда сказки переходят в быль. Может быть, доживем и до того времени, когда все тайные наши думы и желания станут явными, когда мы станем психически прозрачными, когда не нужно будет путей сообщения, так как все со всеми будут сообщены в общем, слившемся из неисчислимых капель, океане сознания.

— И тогда, — шепчет мне тайный голос, — мы, может быть, будем дальше друг от друга, чем когда-либо. Мы исчезнем друг для друга, как отдельные капли в океане.

— Как жаль, что мысли наши не слышны, — сказала одна молодая романистка за редакционным обедом. — Она имела основание думать, что мысль присутствующих была сплошным восхищением от нее.

— Если бы мысли зазвучали, — заметил пожилой критик, — мы оглохли бы.

— Почему?

— Потому, что все мысли слились бы в общий гул, монотонный, вечный. Ухо потеряло бы способность что-нибудь различать в нем. Я думаю, что потому мы и не слышим мыслей друг друга, что они психически звучат. Я уверен, что вне тела души наши уже соединены, уже сливаются в общий гул и потому там, в том мире, не различают ничего отдельного. Наше тело, органы чувств и мозг даны нам, как аппараты, задерживающие соединение душ, изолирующие — как гуттаперча проволоку — от слишком сильных индукций. Органы чувств выделяют из хаоса общего, мирового сознания элементы ограниченного, условного; они через ту или иную щель организма пропускают те или иные лучи, которые дают отдельной душе возможность свое вечное «я» разлагать на цветовые оттенки, всемирное на частное. Стремясь все к большему и

большему сближению, не подвергаем ли мы самое существо жизни опасности уничтожения, слияния в безличном «все»?

Об одиночестве

Помните ли вы мопассановские стоны об одиночестве, о неодолимом, вечном заточении наших душ в узких стенах своей индивидуальности, без надежды когда-нибудь хоть на одно мгновение быть услышанными до конца, до конца понятыми нашими ближними? Помните ли вы ужасные признания старого поэта Норбер де Варрена в холодную ночь в Париже, «когда холодный воздух приносит с собою напоминание о чем-то еще более далеком, чем звезды»? До какой смертельной тоски утонченнейшим людям нашего века хочется близости к себе подобным, но непритворной, действительно кровной, нервной близости, и как все они истомлены отчаянным сознанием, что это одна мечта, несбыточная, безумная, что все мы навсегда одиноки, и всего более одиноки лучшие, самые прозорливые из нас. А потому

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты твои,—

говорит глубокий Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь!» — т. е. мысль непередаваема вовсе, то есть то, что всего дороже в мысли, всего священнее в ней — некая божественная тайна, которую так хочется освободить и которую — как душу — не можешь отпустить из тела.

Et je cherche le mot de cet obscur probleme
Dans le ciel noir et vide, ou flotte unastre blême...*

Это странное, печальное состояние переживали вместе с Мопассаном все истинные художники, но оно не составляет исключительно их проклятия. Не одни художники обладают нынче художественно выработанною душою. Изнервленные, тревожные: томящиеся среди культурной тесноты люди, угнетаемые этой

---

* И я ищу разгадку
этой неведомой тайны слова
в небе черном и пустом,
где плавает лишь одна бледная звезда *(фр.)*.

теснотой как пустым пространством и ищущие близкого сердца, — эти люди многочисленны, их слой растет. Поразительно, что, чем больше строится железных дорог, чем гуще сеть почтовых путей, телеграфов, телефонов, тем чувство душевной близости среди людей исчезает. В каком-то важном отношении все становятся далекими; какая-то тонкая отчужденность — как в разговоре людей, вдруг почувствовавших, что они неприятны друг другу, — устанавливается в том обществе, которое особенно сближено и особенно интеллектуально. Среди трехмиллионного населения Парижа французский поэт чувствует себя в пустыне, его подавляет ощущение дали, бесконечной дали от всего, что его окружает, — от звезд, от человечества, страдания которого кажутся ему презренными, от родного общества, которого низость ему давно знакома, от самой человеческой натуры, столь исчерпанной и неинтересной.

Я не стану объяснять это тонкое страдание, но оно не кажется мне благородным. Тайная причина его — эгоизм.

Кто ближний мой?

Этот вопрос евангельского законника задает теперь Христу все культурное общество древнее и изнеженное, как и тот класс, к которому принадлежал законник. Нынче столько говорят о нищете, но никогда не было на свете такого огромного множества богатых людей, как теперь, и судьба этого класса, перегорающего в сладострастии ума и чувства, весьма загадочна. Она не менее трагична, чем судьба нищих. Что делается в пучинах народных, для нас темно, — но богатое и образованное общество неудержимо падает до декаданса, до нравственного изнеможения. Совершенно как в эпоху Экклезиаста здесь, на вершинах счастья, начинает чувствоваться «томление духа», пустота и ненужность жизни. Начинает казаться, что уже нет ближних, что не для кого жить, некому молиться. И, может быть, как только воздушные корабли и телеграфы сделают всех близкими, — окончательно исчезнут ближние, исчезнет этот древний прекрасный религиозно-поэтический порядок человеческих отношений. «Ближний», значит родной, но

чувство родства неудержимо падает в современном обществе — и в охлажденной, рассеянной семье, и в государстве, слишком разросшемся, вышедшем из берегов. Современная культурная семья или не имеет детей, или, позволив себе эту роскошь, предоставляет воспитание их «рабам» — гувернанткам, боннам, учителям, меняющимся как в калейдоскопе. Ребенок нынче уже редко знает очарование «семейного очага», тесного, дружного, связанного навеки кружка людей, среди которых он просыпается к сознанию. Вместо замкнутой семьи перед ним открытое, как площадь, общество с беспрерывною сменою лиц, толпа товарищей, которые не имеют времени сделаться друзьями и точно вихрем рассеиваются по свету. Специализм, приковывающий каждого у его конторки, слишком запутавшиеся, слишком зависимые от всего отношения, худо скрытая, упорная конкуренция, затаенная борьба каждого против всех — все это вырабатывает тот социальный страх, который отравляет жизнь самым обеспеченным слоям. Достигнутое благополучие кажется или недостаточным, или непрочным; за него боятся, но его не ценят. Вся мысль, вся страсть современного культурного человека сосредоточивается на своей личности, и он впадает в ту форму помешательства, которая составляет общую почву всех других душевных болезней — в эгоизм. Эгоизм вовсе не естественное состояние, как иные думают; — это расстройство души, хотя бы и всеобще распространенное. Эгоизм культурных классов — особенно на Западе — кончает отчаянием. И невольно, и добровольно замкнувшись в себе, душа чувствует себя одинокой, от всего далекой, совсем затерянной. Все теперь чужие, все внутренно далекие, тогда как десятками тысячелетий человек воспитывался как «существо общественное», нуждающееся в том, чтобы его любили и чтобы было кого-нибудь любить. Казалось бы, так просто: кто хочет любить, тот полюбит, но во множестве людей — как предсказано в Евангелии — на верхах культуры уменьшилась любовь. Лихорадочная забота о путях сообщения, как в век римского упадка, похожа на поиски потерянных ближних, на жажду все более и более тесного, непрерывного соединения— всех со всеми. Но иногда хочется сказать: — Полно, господа, расстояние ли разъединяет людей? Можно стоять рядом и в то же время бесконечно далеко. Пом-

ните: «Шел священник и прошел мимо», «подошел левит, посмотрел и прошел мимо». Раз потеряна способность «увидеть и сжалиться» — и нет ближнего, и как будто двух людей, стоящих рядом, разделяют океаны и материки.

Итак, да здравствует буква S, перебежавшая океан, да здравствуют беспредельные усилия сделать человечество одной семьей! Не успела прийти весть об опытах Маркони, как телеграммы говорят о новом открытии — телефонировании без проволок. Фредерик Коллен и Стубенфиельд в Америке воспользовались земными токами и нашли возможность передавать живую речь на значительном расстоянии. Трубка Бранли — чудесный прибор, соединяющий человечество «во едино стадо». Все это прекрасно, но не забудем, что физическое сближение не все, что оно собственно ничто, если нет в человеке того прибора, который называется сердцем. Трубка Бранли, возбудитель Риги, вибраторы, резонаторы, когереры — все эти необыкновенно хитрые машинки все же только орудия основного двигателя — сердца, и раз оно отсутствует... многого ли стоят эти хитрые машинки! Вдумываясь в дух теперешней культуры, вникая в глубокую притчу Христа о ближнем, — вы непременно начнете колебаться относительно буквы S. В дорогах ли мы прежде всего нуждаемся? В телеграфах ли? Всем сердцем нужно желать братства народов, — но в какой мере оно достигается внешним сближением? Вспомните, как норвежцы ненавидят шведов, датчане — немцев, итальянцы — французов, испанцы — португальцев и т. д., вы увидите, что внешнее сближение иногда более ожесточает, нежели примиряет. О, если бы французы столь же равнодушны были к немцам, как к далеким персам! А если немцы придвинутся к французам еще плотнее, то неизбежен взрыв, разрушительный и жестокий. Но допустим мечту: народы соединились. Все одной веры, одного языка, одного всемирного государства, — даже разное происхождение забыто. Но — шепчет мне тайный голос — и священник, и левит были той же веры, того же языка, той же национальности, что ограбленный разбойниками на дороге. Это были люди ученые, и даже вожди народные, и они прошли мимо. Именно на них лежало учительство милосердия, и они прошли мимо. Именно они считались выразителями воли Милосерд-

ного, и они прошли мимо. Глубокий смысл притчи в том, что «ближним» явился иностранец, и из иностранцев худший, презираемый самаритянин. Он не прошел мимо, он «оказал милость». Неожиданно, нечаянно явился ближний, на мгновение человек почувствовал около себя родного человека. Этот момент нужно считать высочайшим исполнением закона жизни, той драгоценной минутой, для которой стоит жить. Но как плохо она обеспечена на верхах знания, как невнятна она людям благополучным, законникам и левитам!

Я боюсь говорить парадоксы, но, право, мне иногда кажется, что мир на земле при некотором разъединении был обеспечен больше, чем при теперешнем чрезмерном сближении. Необходимы дороги, почты, телеграфы. Но старинные плохие дороги и плохая почта тоже сослужили свою службу человечеству. Благодаря им жизнь не растекалась, как теперь, держалась в каждой местности, как в закрытом бассейне, отстаивалась, органически развивалась. Худо ли, хорошо ли — приходилось большинству сидеть на своей почве и в нее влагать всю энергию, весь свой гений. Приходилось за долгие годы сживаться со своей родиной и любить ее как свое сердце. Чужих краев не знали и потому не желали их. Соседи, которых каждый помнил около себя во всю долготу жизни и знал их как братьев, действительно становились родными, которым совсем не помочь было тяжело. Отсюда замечательная, к сожалению, забываемая психология общинной жизни в старину. Замкнутые в свою местность, физически разъединенные, общины обнаруживали жизненность необычайную. Как клетки тела, они были организмами, где каждая молекула была прочно связана с другими. Но вот пришел век неслыханно быстрых сообщений. Все стало всем доступно. Все потянулись искать лучшего, все стали своим недовольны. Местная жизнь захирела, общая жизнь смялась, запуталась, приняла стихийный характер. Выйдите на улицу большого города — каждый день на ней стотысячная толпа. Все теснятся, все близки, но все чужды друг другу и внутренно далеки. Все идут мимо и мимо. Под густою сетью телеграфов и телефонов часто видишь полузамерзшего человека, выражение глаз которого — как будто он заблудился в Голодной степи...

ЗАМКНУТОЕ ГОСУДАРСТВО

Август 1902 г.

Если бы яркая звезда, горящая теперь по вечерам на юге, вдруг исчезла из солнечной системы, произошло бы бурное расстройство. Планеты передвинулись бы в своих орбитах, изменились бы климаты и вся природа. Если бы великая держава, играющая роль Юпитера, вышла совсем из семьи народов, произошло бы потрясение, которое могло бы дать истории разных стран совсем другие пути. Нечто подобное замышляется в Европе. В одной из столиц заседает конференция министров, решающая проект мирового значения. Речь идет о том, чтобы вывести из общения с человечеством ни более ни менее как «четверть земного шара» и составить совершенно отдельный замкнутый мир, независимый, неприступный, как Луна, имеющая с Землею только общее тяготение.

Вы догадываетесь, что я говорю об Англии, о заседающей в Лондоне конференции первых министров британских колоний. Вместе с г. Чемберленом они разрабатывают вопрос об образовании всебританской федерации, об устройстве огромной империи из хаоса подвластных Англии неизмеримых земель. Последняя «победоносная» война, где потребовалось более двух с половиною лет, чтобы принудить к сомнительному миру в четыреста раз слабейшего врага, принята Англией как серьезный урок. Для всего света выяснилась сравнительная слабость Англии, ее несорганизованность для больших войн, ее нравственное одиночество в семье народов, ее одиночество даже среди собственных колоний: последние оказали ей немногим более поддержки, чем враги. Счастье Англии, что никто не вмешался в ее войну, — это было бы, может быть, сигналом к крушению плохо связанной британской системы. Англичане, по-видимому, ясно поняли опасность и спешат предупредить новую. Вырабатывается

как бы великодержавная конституция с целью скрепить разрозненные части. Вопрос так стоит, что или Англия должна отказаться от ее гордой роли в мировой политике, или доказать действительное, не бумажное обладание четвертью земного шара и четырьмя стами миллионов подданных. В этом направлении идет теперь кипучая работа. Под предлогом коронования Эдуарда VII предпринято как бы коронование самой Англии среди заокеанских ее земель. До сих пор плохо признаваемая метрополия чувствует необходимость возложить на себя царственные знаки и взять наконец вместо весов и аршина — скипетр над выросшими под ее щитом полусвободными народностями.

Осуществима ли эта широкая затея? В русской печати преобладают отрицательные предсказания. Принято думать, что английские колонии горят духом независимости, что они ненавидят Англию, что им недостает только немножко зрелости, чтобы отпасть от нее. Я этого мнения не разделяю. Чемберлен не собрал бы колониальных министров, если бы не верил, что успех федерации возможен. Колонии, конечно, могут долго торговаться с Англией — и они, и она — старой купеческой крови, — но едва ли разойдутся без серьезной сделки. Как ни дорога культурным народам их независимость, именно ради ее спасения они готовы пожертвовать некоторыми ее правами. Вспомните, что мы живем в век объединения национальностей, в век крушения маленьких государств для образования больших. Вспомните, с каким восторгом независимые государства Италии или Германии отказались от своей отдельности, когда речь зашла о «едином» отечестве. В Италии нет уездного города, где бы не было статуи Гарибальди и Виктору-Эммануилу; Саксония, Виртемберг, Ганновер, Баден, Гессен, даже Бавария, даже «свободные города» покрыты монументами Вильгельму I и Бисмарку. Очень трудно понять, что собственно выиграли от объединения маленькие державы, но таков дух времени, такова мода, подобно инфлуэнце, обошедшая земной шар. Централизм, империализм — вот общий лозунг, сменивший страстную мечту «объединения». Даже крохотная Швейцария, откуда я пишу эти строки, — даже эта идиллическая страна, самый древний оплот свободы — и она теперь бредит централизацией, даже она «рассудку вопреки, наперекор стихиям» подавляет кантональную автономию и

заводит единое «сильное» правительство. Даже Соединенные Штаты увлечены империализмом и сосредоточением власти в руках конгресса. Если хотите знать, куда направляется кортеж народов, взгляните на форейтора. Теперешний форейтор нашей цивилизации — Япония — мечтает быть если не всемонгольской, то по крайней мере тихоокеанской империей. Недавний раздел земли, происшедший без шума, начинает внушать даже неподвижным народам — вроде Германии, Франции, Италии — настроение, соответствующее широте захвата: и эти державы втягиваются в захваченную ими пустоту и мечтают об экзотических империях. Быть возможно более обширными, сосредоточенными, сильными — вот идеал, в жертву которому приносятся братство народов и собственная свобода. Что же удивительного, если и «страны английского языка», разбросанные как никто, заражены духом объединения и империализмом?

Подобно тому, как не Пьемонт объединил Италию, а сами итальянские республики и королевства потянулись к Пьемонту, так и здесь: Англии, мне кажется, не придется даже и хлопотать о федерации,— она сама сложится. Если Англия немыслима без колоний, то и они без нее — ничтожны. Федерация расширяет какую-нибудь крохотную Новую Зеландию до размеров «четверти земного шара» — аргумент не только мечтательный, но имеющий выгоду всякой кооперации. Содержать общую армию и общий флот бесспорно выгоднее, чем содержать их отдельно. Вы спросите — зачем Австралии армия или военный флот? Она защищена океаном. Но ведь и Англия, и Соединенные Штаты, и Япония защищены океаном, однако вооружаются с головы до ног. У Австралии не было врагов, пока не было государства, пока мирные колонисты работали из-за куска хлеба, доверившись защите Божией. Теперь они богаты, сильны, жадны, теперь они устроили себе молодое государство, задор которого растет по мере роста населения, — совершенно, как в Северной Америке. Если же ввести в органический план своей жизни вражду, то империя, несомненно, выгоднее автономии. Оградив свободу внутреннего управления, колонии непременно согласятся на федерацию, может быть, попросят ее. В крайнем случае Англия может выставить тот же решительный довод, какой заставил Италию войти в тройственный союз.

«Если не хотите войти в федерацию, будьте самостоятельными, но вам придется вооружаться против меня же». Безвредная, как член союза, могущественный защитник, — вне федерации Англия превращается в самого страшного для морских стран врага. «Или соглашайтесь на нежные братские объятия, или теми же сильными руками вы будете задушены, как враги». Мне кажется, умные и еще весьма слабые народцы выберут первое из предложений. Но до этого не дойдет, центростремительные влечения, вероятно, предупредят борьбу центробежных сил.

Говоря об Англии, часто вспоминают Рим, распавшийся от слишком широкого захвата. Но это было совсем другое время и другие условия. Тогда не было иной, кроме конной, тяги и каботажного, очень жалкого мореплавания. Не было ни дорог, ни почт, ни телеграфов. Может быть, пятьдесят лет назад океаны составляли важное препятствие, — но сравнивать время, когда нужно было от шести недель до трех месяцев, чтобы доплыть до Америки, с теперешним, когда пароходы ходят туда в четыре дня, — никак нельзя. Быстрота, точность, обеспеченность морского плавания возросли невероятно, и расстояние между Англией и колониями сократилось вдесятеро. Винтовые суда ходят теперь со скоростью экспрессов, не боятся ни бурь, ни качки; море, бывшее некогда непроходимой пропастью, считается лучшим из путей, не требующим ни постройки, ни содержания, ни ремонта. Моря соединяют теперь те страны, которые разделяли, а подводные кабели и беспроволочный телеграф сделают сообщение по океанам более удобным, чем на материке.

Надо вспомнить и то, что присоединяемые к Риму народы были чужды ему и пылали ненавистью рабов, всегда готовых к бунту. Английские же колонии основаны на начале широкой свободы. Господствующий класс в них — кровные англичане, для которых истинною родиной, страною предков, навсегда останется old merry England*. Разве легко отказаться от тысячелетних преданий, от общей истории, общей славы? Разве легко для австралийца, канадца, капландца признать чужими себе короля Артура, и рыцарей Круглого Стола, или Ричарда Львиное Сердце, или героев

* Старая добрая Англия *(англ.)*.

Столетней войны, или отречься от тех имен, которые даже для образованных турок звучат как священные, от имен Ньютона, Бэкона, Шекспира, Байрона, Вальтера Скотта, Фарадея, Дарвина? Как бы ни обмещанились колонии, как бы ни одолел их коммерческий материализм, все же роль английской расы в человечестве слишком огромна, чтобы отказаться от соучастия с нею. Народы имеют свои титулы, не высказываемые, но признаваемые всюду. Сложить с себя заслуженное, утвержденное временем, бесспорное знание великой исторической народности не хватит духу у молодых колонистов. Напротив, в качестве провинциалов, parvenues * в общей семье, они могут принять ближе к сердцу эту сторону английского империализма. Уставшая от трудов и славы метрополия может воспрянуть именно от притока колониального джингоизма.

Скептики, столь долго пророчествующие о распадении Великобритании, обыкновенно ссылаются на Соединенные Штаты, отпавшие от Англии. Но это была чистая случайность, впоследствии не повторившаяся. Она была вызвана исключительною жестокостью тогдашней колониальной администрации и революционным духом той эпохи. Конечно, если бы Англия вернулась к своей безумной системе XVIII века, то она растеряла бы свои колонии, но ведь об этом нет и речи. Колонии до такой степени поставлены выгодно и независимо, до такой степени их достоинство ограждено, а права блюдутся ненарушимо, что не только английские, но и совсем чужие земли не прочь были бы вступить в подобную же федерацию с Англией. Поглядите, как покорно выносят английское владычество Египет, Кипр, даже несчастная Индия, где управление самими англичанами признается отвратительным. Если Соединенные Штаты отпали от Англии политически, то ни в малой степени не отпали культурно: они по-прежнему остаются во власти своей прежней метрополии в области языка, веры, культуры, науки и народного миросозерцания. Народилась даже заметная склонность к обратному воссоединению; уже есть громкие мечтатели, вроде Сесиля Родса, жертвующие десятки миллионов для этой цели. Пророчествуют о том, что сама Англия вступит в Соединен-

* Выскочки *(фр.)*.

ную империю как самостоятельный «штат». Присоединение Америки английскую «четверть земного шара» расширило бы в будущем до «половины».

Пусть все это сложится не сейчас и не так стройно, как подсказывает воображение, но ясно одно: мы накануне каких-то новых и важных исторических событий. Великобритания, захватившая в свой невод столько морей, берегов и островов, начинает потихоньку тащить добычу, начинает собираться, сосредоточиваться, кристаллизоваться в систему связную, неподвижную, как монолит. Как из испарений собираются облака, рассеянные силы английской нации собираются в тучу, которая дышит угрозой остальному человечеству.

Все — свое

Империальная идея, приписываемая г. Чемберлену, очень проста, изящна и умна. Она может быть подсказана политическим и моральным отчуждением, которое особенно резко обнаружилось во время войны с бурами. «Если Англия одинока, так и пусть же она будет одинокой, и пусть мир посмотрит, кто будет в проигрыше». В своих неизмеримых пределах Англии не тесно; сама она с ее колониями представляет еще не сложившийся, но замкнутый мир, который мог бы прекрасно существовать без участия остального человечества. Англо-колониальная федерация включает в себя все широты и долготы, все климаты, почвы, все царство фауны и флоры. Тут есть и неистощимые житницы хлеба, и поставщики мяса, и рынки шерсти, хлопка, дерева, меха и пр. и пр. Все металлы и минералы в черте этой империи свои. Сама же Англия в состоянии завалить фабрикатами полмира. Все элементы системы налицо, остается их уравновесить, сорганизовать, и вот вам идеальное «замкнутое» государство, о котором мечтали философы. Это было бы политическое perpetuum mobile *, которое решило бы задачу абсолютной народной независимости. Пока англичане в хлебе зависят от американцев и русских, в лесе — от норвежцев, в шелке — от французов и т. д., они не могут назваться вполне свободными. Вполне свободный народ зависит только от своей природы

* Вечный двигатель *(лат.)*.

и самого себя. Только при этом условии он имеет право воскликнуть: «мы никого не боимся, кроме Бога!»

Английские империалисты мечтают отделиться от человеческого рода, ничего не покупать у соседей и продавать им лишь свои избытки. Идея эта — хотя она принадлежит нашим политическим врагам — блестящая. Как все, что изобретает современный английский ум, она отличается эгоизмом; в корне своем она, если хотите, безнравственна, но для англичан явно выгодна. Моральный смысл ее — отказ от всечеловеческого братства, от мирового единения, которое поддерживалось и развивалось всего лучше международной торговлей. Государственный смысл ее в том, чтобы соединить в одно грозное, невероятно огромное государство рассыпанные, почти независимые земли, и таким образом — если не теперь, то в будущем — представить силу, господствующую на земле. Коммерческий смысл тот, чтобы все барыши своей всемирной торговли оставить дома, чтобы ни один английский шиллинг не ушел из отечества, чтобы весь безмерный капитал Великобритании был приложен к обработке исключительно своей природы. Теперь, покупая в России хлеб, масло, яйца, пеньку и пр., Англия поддерживает этим русское земледелие, скотоводство, куроводство и т. п. Лучше же поддерживать все это в своих колониях, как и последним — покупкою фабрикатов — лучше же поддерживать свою метрополию, чем враждебную Германию или Францию.

Мысль холодная, недобрая, но умная. Человечеству, имеющему несчастье торговать с Англией, придется-таки подумать и подумать, если замысел Чемберлена удастся. Это уже не война с бурами, — это скрытный удар, направленный против многих экономически слабых стран, — в том числе против России. Устройся всебританская федерация, — а почему бы ей не устроиться? — это тихое событие — вроде наступления ледниковой эпохи на соседнем материке — может чрезвычайно пошатнуть и нашу экономическую природу и дать ей совсем иной характер. Вспомним, что о таком же замкнутом союзе американского материка мечтают Соединенные Штаты, и их мечта накануне осуществления. Вспомним среднеевропейский таможенный союз. России, может быть, волей-неволей придется — или вступить в экономическую федерацию с еще незамкнутыми державами, или и самой

попробовать уединиться в своих огромных границах, поискать дома всего, что ей нужно. Подумаем, возможно ли это и насколько вообще это разграничение в интересах цивилизации.

Der Mensch kann Alles, was er will*. Почему же невозможно устроить и замкнутое государство? Слово «нельзя» до такой степени не делает честь человеку, что его непозволительно произносить без строгого исследования. В эпоху Петра Великого нам было бы безумно думать о замкнутом государстве: или пришлось бы отказать своему народу навсегда в тех способах счастья, какие на Западе сделались уже доступными, или ждать с опасностью военного разгрома — еще тысячи лет для самобытного развития науки и промыслов. Поколение Петра I решило, что выгоднее открыть границы, выгоднее заимствовать все, созревшее на Западе, и перенести его на нашу почву. Может быть, многое при этом было заимствовано напрасно, но действительность показала, что нужно было не менее двухсот лет, чтобы только завязать у нас культурные промыслы, довести их до нынешнего — все же невысокого уровня. В ожидании, пока наша собственная промышленность сравняется с европейской, пришлось обработанные товары брать с Запада, отпуская взамен их — необработанные. Если бы европейская промышленность осталась на том уровне, на каком она была во времена Петра, — мы давно бы догнали Европу и уже давно освободились бы от торговой дани ей; говорю дани, так как обмен сырья на фабрикаты почти равносилен промену капитала на проценты. Страны, отпускающие сырье, торгуют в сущности собственною кровью, они не только истощают весьма исчерпаемые запасы своей природы — почву, леса, недра гор, — но как бы ставят крест над собственной народной энергией. Последняя обрекается на самые тяжкие, наименее производительные, рабские формы труда. Задержанный в качестве труд вынужден растрачиваться в количестве: чтобы получить из-за границы фунт обработанного металла или шерсти, нужно отпустить туда 3 пуда хлеба или масла.

Нет сомнения, что мы выбились бы из этой барщины, которую служим Западу, если бы он не менял своих промыслов и не шел гигантскими шагами впе-

---

* Человек сможет все, что он захочет *(нем.)*.

ред. Но если Россия в век Петра как бы проснулась и бодро вышла в путь, — то Запад одновременно прямо ринулся вперед, ринулся с быстротою и для него еще небывалой. Мы отстали и, может быть, во многом еще отстаем, но не стоя на месте, а на ходу. И догнать Запад совершенно невозможно, пока границы открыты. Вы скажете, что закрытие границ вернуло бы нас к допетровским временам. Но это едва ли так. В век Петра у нас ничего не было, кроме почвы, и даже семена культуры можно было достать только на Западе. Теперь мы уже имеем обеспеченные всходы, местами совсем созревшие. Тогда Петру приходилось собственноручно строить корабли, переводить уставы и учебники, теперь мы имеем не только свои верфи, но и академии, и университеты. Если европейская культура у нас еще не мобилизована с тою роскошью, как на Западе, то необходимые кадры ее уже налицо. Решительно нет ни одного промысла, который бы не мог у нас быть поставлен собственными средствами. Исчезни вся цивилизация — одного Петербурга было бы достаточно, чтобы снова восстановить ее. Если при Петре приходилось посылать молодых дворян в Европу учиться арифметике и географии, то теперь даже такие ученые, как Вирхов, иногда находят, чему поучиться в России. В некоторых — хоть и немногих областях — Россия уже впереди Запада. Если бы Густав-Адольф встал из гроба и повторил свою знаменитую фразу о «ручейке, который русским не удастся перепрыгнуть», если бы, вспомнив завет этого умного короля, вся Европа отгородилась от нас Китайской стеной, то теперь это для нас не представлялось бы слишком страшным. У себя дома мы имеем уже Европу: мы уже не Азия и ею больше никогда не будем. Пусть Европа и весь свет прекратят с нами торговлю, но их умственное движение разве может быть от нас скрыто? Если не самые вещи, то идеи их разве не будут нам известны на другой уже день по их появлении на Западе? Это в средние века изобретение оставалось неизвестным за триста верст, и это тогда были возможны секреты, погибавшие со смертью тех, кто знал их. Теперь, кроме центробежных политических сил, есть такие центростремительные могущества, как наука — по самой природе своей международная, как печать — главное орудие науки. Возможен таможенный, промышленный, биржевой, политический бойкот,

но лишить нас и умственного общения с собою Европа не может, а при этом условии мы уже в состоянии создавать сами все вещевые ценности.

Одиночество как сила

Говорят, как заученную фразу, что l'union fait la force *. Человечество погибло бы, если бы снова, как некогда, утратило теперешнее общение духа. Обмен мысли позволяет каждой точке земли жить творческой силой всей ее поверхности, отдельному человеку — всеми средствами человечества. Только единение мысли позволяет формуле прогресса приобретать то могущество, которое в механике массе дает ускорение. Потерять этого рода единство — было бы крушением человеческого господства на земле. Говорят много хороших вещей о единстве, припоминают басню Эзопа о пуке палок и пр.

Все это так. Единение — благо, однако и тут должна быть соблюдена мера, которая обеспечивала бы разум явления. Сказать, что единство мысли всегда полезно, было бы большой ошибкой. При широком обмене мыслей нередко берут верх не лучшие из них. Часто наслоение предвзятых идей создает очень вредное и в то же время неодолимое внушение, которое не только не способствует прогрессу, но прямо-таки останавливает его. Вся так называемая ложная ученость, суеверия философских и фанатизм религиозных школ создались именно чрезмерным единством мнений: невежество, как справедливо заметил Руссо, ближе к истине, чем предрассудок, а предрассудок всегда создается умственным объединением толпы. «Силен бываешь только тогда, когда один», — говорил благородный д-р Штокман у Ибсена. Великие вероучители и вожди человечества обыкновенно были одиноки — и никогда мысль их не была блистательнее, чем в это время. Но даже святые истины теряли в глубине и ясности, когда делались достоянием многих. Ничто великое — ни картина, ни статуя, ни архитектурное здание, ни трагедия, ни ученый трактат — ничто совершенное не выходило иначе, как из одиноких рук. Даже мир можно понимать созданным не иначе, как одной Волей.

* В единении — сила *(фр.)*.

Умственное общение наше с Западом имеет не только выгодные стороны. Принимая чужие идеи, достающиеся дешево, часто весьма относительные, мы растериваем свои, основанные на прочном опыте. Подчиняясь всемирному хору мнений, слагающемуся в значительной степени стихийно, мы утрачиваем ту честность мысли, которая отличает всякую индивидуальность. В самом внутреннем и важном отношении мы теряем свою народную душу, заменяя ее безразличной международной. Но вдаваясь глубже в этот вопрос, ограничиваясь намеком, прошу припомнить то, что говорит психология о роли слишком большой толпы и массовых внушениях. Единение мысли, столь благодетельное для широты ее, очень вредно отражается на глубине. Нет сомнения, если бы Россия могла несколько эмансипироваться от гнета ей чуждых умственных влияний, ее собственное духовное творчество только выиграло бы. Если вы мне укажете на Китай, я скажу, что и он погублен чуждыми влияниями: роль последних сыграла его собственная древность, давно отжившая, опереженная жизнью. Чрезмерное единение опасно даже с предками: слишком далекие от нас, жители иного века, в качестве наших учителей они являются иностранцами. Такими иностранцами были для иудейства их древние авторы или для средневековых ученых — Аристотель. Так что формулу «единение дает силу» следует дополнить поправкой «а иногда дает и слабость».

Но сторона материальная?

Мне кажется, если бы Россию принудили поискать в самой себе все необходимое, то она, потрудившись несколько, и нашла бы все это. Без принуждения мы никогда не соберемся исследовать свою природу, приложить свою собственную энергию, свой гений к ее дарам. Как бы роскошно ни поднялась наша собственная промышленность, известная доступность иностранной будет угнетать ее. Чужое — хотя бы посредственное, помимо внутренней ценности, имеет очарование «не нашего», и «наше», даже при высоких покровительственных тарифах, развивается плохо. Но если Англия, Тройственный союз, американский союз составят замкнутые группы, если нам волей-неволей придется замкнуться, то мне кажется, получится в конце концов не проигрыш, а разве лишь временное расстройство, после которого начнется, может быть,

небывалый еще, действительный расцвет русской жизни.

В самом деле, что собственно дало России тесное коммерческое сближение с Европой? Оно европеизировало нас, но обрекло в то же время на экономическое рабство Западу. Образованное общество привыкло к иностранным фабрикатам, которые вытеснили немало наших собственных промыслов, например, завязавшиеся производства тканей, утвари, мебели, украшений, драгоценностей. Наши полотна, сукна, ковры, узоры, сундуки, ларцы, кресла, изделия гончарные, лаковые, серебряные и др. или совсем были вытеснены, или оттеснены с большого рынка. Наше виноделие до сих пор не может подняться из-за конкуренции заграничных вин. Когда-то славились железное, кожевенное, деревянное, шелковое производства — теперь они упали. Нет сомнения, что заграничный товар отличается и дешевизною и доброкачественностью, но тем менее надежды русскому производителю одержать победу над ним. На первый взгляд — не все ли равно, где купить сукно русскому покупателю, за границей или дома, лишь бы оно было хорошее. Но миллионы таких покупок создают судьбу народную. Если вы купите аршин сукна в Англии, вы дадите дневную работу англичанину, накормите его семью. Тот же аршин, купленный дома, накормил бы русского работника. Если русское образованное общество, состоящее из землевладельцев и чиновников, все доходы с имений и жалованья передает за границу, то этим оно содержит как бы неприятельскую армию, целое сословие рабочих и промышленников чужой страны. Свои же собственные рабочие, сплошною, многомиллионной массой, сидят праздно. Вы скажете — они не могут сидеть праздно, так как, чтобы уплатить помещикам и государству требуемые деньги, они должны производить то, за что дают за границей деньги, т. е. хлеб. Но я уже говорил выше, до какой степени невыгодно народу специализироваться на производстве сырых продуктов и вообще на черном труде. Далеко нечего ходить: сравните доходы чернорабочего со своими. Государства, не сумевшие развить в себе высшие промыслы или добровольно отказавшиеся от них, начинают играть в семье народов роль темных бедняков, которые всего только и умеют, что почистить трубы или натереть полы. Мы, в течение двухсот лет выво-

зящие только сырье, рискуем навеки остаться в положении простонародья на всемирном рынке: от нас всегда будут требовать много работы и всегда будут бросать за это гроши. Народу-пахарю, чтобы как-нибудь свести заграничный баланс, приходится напрягать последние силы — и свои, своей природы, приходится распахивать гораздо большую площадь, чем это необходимо для собственного прокормления, и отпускать за границу гораздо больше, чем страна может вывезти без опасности для самой себя. Известно, что средняя пищевая норма народного потребления у нас на 13% ниже, чем за границей; стало быть, от необходимого куска хлеба народу приходится отламывать восьмую уже часть; даже в урожайные годы народу в целом его составе приходится недоедать. Но на народном питании покоится вся сила государственная и вся судьба племени.

Как видите, замкнутость западных стран, угрожающая лишить нас вывоза, бьет в самый центр теперешней экономической жизни, в кусок хлеба.

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Август 1902 г.

Может ли Россия отказаться от тесного общения с Западом? Добровольно — нет, не может. Пусть огромное большинство народное — крестьяне и мещане — до сих пор обходятся собственным производством, пусть для них Европа почти не существует, но мы, так называемый «образованный класс»? Со времен Петра Россия глубоко завязла в Западе именно этим своим органом, просвещенным сословием, — и без острой боли, без разрыва по живому телу, мы оторваться от Запада не можем. Народ живет еще во многом допетровской жизнью и, как стихия первоначальная, он не может отойти от своей земли, от своей природы. Из-за границы народ получает излишнее, дома находит необходимое. Но класс просвещенный, он так сложился, что чужое ему иногда кажется более существенным, чем свое. Мы глаз не сводим с Запада, мы им заворожены, нам хочется жить именно так и ничуть не хуже, чем живут «порядочные» люди в Европе. Под страхом самого искреннего, острого страдания, под гнетом чувствуемой неотложности нам нужно обставлять себя той же роскошью, какая доступна западному обществу. Мы должны носить то же платье, сидеть на той же мебели, есть те же блюда, пить те же вина, видеть те же зрелища, что видят европейцы. Но для нас это несравненно труднее осуществимо, чем для них. Верхний класс на Западе, путем промышленности и торговли ограбивший половину земного шара, не только может позволить себе то, что мы зовем роскошью, но озабочен, чтобы развить ее еще глубже, еще махровее, еще неслыханнее. Великие открытия механики, физики, химии еще едва сделались известными, они не сразу проникнут в толщу публики, но уже весь Запад кипуче перестраивается, меняет быт свой в жилищах, одежде, способах

передвижения и питания, в способах труда и счастья. Мы, образованные русские, как сомнамбулы следим за Западом, бессознательно подымая уровень своих потребностей. Чтобы удовлетворить последние, мы предъявляем к народу все более строгие требования. С каждым годом нам становится мало прежних средств к жизни. Пусть имения дают теперь втрое больший доход, чем при наших дедах, — мы кричим о разорении, потому что наши потребности возросли вшестеро. Пусть казенное содержание чиновников теперь втрое выше, чем шестьдесят лет назад, — мы непрерывно требуем повышения окладов и пенсий, хотя источник их — чернорабочий труд, земледелие, остаются в прежних и даже более стесненных условиях. Вдумайтесь в нашу культурную связь с Западом, вы увидите, что она обходится России недешево, что она едва ли возвращает народу то, что берет с него. И все-таки добровольно разорвать эту разорительную связь мы не в силах. Европа — наш очаровательный порок, мы оправдываем его всеми силами души, мы ищем и придумываем тысячи выгод, будто бы извлекаемых нами из общения с Европой, мы, — чтобы отстоять это общение, не задумаемся поставить на карту имущество народа, его человеческое достоинство, его независимость. Но, помимо наших желаний, мир, кажется, идет к тому, чтобы вырвать нас из объятий Запада, или по крайней мере сильно их ослабить. Вопреки величайшим усилиям нашим упрочить вывоз, отстоять свое звание «житницы Европы», — нас вытесняют со всех рынков, и очень возможно, что совсем вытеснят. Если осуществится всебританская федерация, если германские аграрии добьются запретительных на нашу рожь тарифов, если Америка, Аргентина, Австралия, Индия, Египет разовьют свою торговлю хлебом, если, наконец, немцы осуществят свой план — сделать из Малой Азии сплошную хлебную плантацию, то русскому хлебу не будет выхода. Все эти «если» —не мечта, все они уже на ходу, все это совершающиеся на наших глазах события, огромное значение которых потому только трудно усваивается, что оно слишком огромно. Мы бесспорно уступаем Западу в средствах борьбы за рынки: у нас нет культурного земледелия, у нас нет дешевых путей, нет мореплавания и торгового флота, нет старинных коммерческих связей. Наш хлебный вывоз в руках комисси-

онеров, грабящих и спрос, и предложение. Наш рынок отличается неустойчивостью: урожайный год — хлеба сколько угодно и он сам себя душит дешевизной, а рядом несколько голодных лет — и цены идут в гору. Нам крайне трудно бороться с хлебными странами и при открытых границах. Если же мир, движимый какой-то волной эгоизма и нравственного охлаждения, начнет «дифференцироваться» в замкнутые группы и государства, — нашей внешней торговле настанет конец.

Россия — для русских

Допустимте на минуту, что это возможно, что это уже случилось, что европейские границы закрыты для нашего хлеба. Раз нет вывоза — невозможен и ввоз: все то, что наше образованное общество получает на Западе, оно будет вынуждено покупать дома. Как вы думаете — будет ли это большим несчастьем?

Мне кажется, первым последствием закрытия границ будет стремительный подъем русского производства. К нам точно с неба упадет тот рынок, отсутствие которого угнетает все промыслы и которого мы напрасно ищем в Персии, Туркестане, Турции. К нам вернется из-за границы наш русский покупатель — все образованное общество, весь богатый класс. Спрос на внутренние товары подымется на сумму теперешнего ввоза: подумайте, какой это электрический толчок для «предложения»! Оживятся старые промыслы и разовьются новые — до уровня европейски воспитанного вкуса, европейской требовательности потребителей. Теперь дойти до этого уровня наша промышленность не может: на дороге у нее — неодолимый конкурент, Западная Европа, которая берет верх не только совершенством и дешевизной товаров, имеющих широкий сбыт, но и привлекательностью всего, что чужое. Достаточно хоть ненадолго избавиться от этой конкуренции, чтобы наша промышленность забрала ход, приобрела инерцию, пустила корни и приняла бы формы здорового явления. Теперь она и недоброкачественна, и дорога, как все незрелое. Теперь она — государственный паразит, искусственно вскармливаемое, парниковое растение, народу малодоступное. Явится сильный спрос — возможна будет широта предприя-

тий, товары сделаются разнообразнее, лучше и дешевле. С ними должно произойти то же, что, например, с русскими ситцами: как только выяснилось, что для них есть огромный внутренний рынок, они вытеснили иностранные ситцы, и качество их поднималось вместе с упадком цен. Явись у нас внутренний рынок для дорогих тканей, машин, мебели, предметов роскоши и комфорта — поднялась бы и русская фабрикация их. Если наши дорогие товары хуже иностранных, то не от того, поверьте, что фабрикантам лень выписать иностранные образцы и добиться точь-в-точь такого же совершенства. Не лень, а нет выгоды: товары высокого качества требуют широкого сбыта, иначе их производство дороже иностранного. Поневоле приходится вырабатывать вещи поплоше, подешевле, рассчитывая не на богатый класс, а на бедный. Вернуть богатого покупателя из-за границы — это было бы новой эрой для нашей промышленности, и только при этом условии осуществился бы замысел Петра I, желавшего видеть Россию страной, не зависимой от иностранцев. Петр лихорадочно спешил заводить фабрики у себя дома, но богатый покупатель ушел за границу — и великая мечта повисла в воздухе.

«Но как же хлеб? — спросите вы. — Если не будет вывоза, куда мы денем избытки хлеба?»

Мне кажется, что и с хлебом не будет большой беды. Не станут его покупать у нас — хлеб останется дома. Он тотчас упадет в цене и сделается более доступным народной массе. Исчезнет эта страшная язва — недоедание; может быть, исчезнут и голодовки: их не было, или они не были столь острыми до той эпохи, когда Россия стала выбрасывать за границу целые горы зерна. В старинные времена в каждой усадьбе и у каждого зажиточного мужика бывали многолетние запасы хлеба, иногда прямо сгнивавшие за отсутствием сбыта. Эти запасы застраховывали от неурожаев, засух, гесенских мух, саранчи и т. п. Мужик выходил из ряда голодных лет все еще сытым, не обессиленным, как теперь, когда каждое лишнее зерно вывозится за границу. Если вновь появится избыток хлеба в стране — народ поздоровеет, отъестся, говоря грубо, — соберется с силами для борьбы со стихийными бедствиями. Кто знает, может быть, сами эти бедствия явились отчасти следствием того, что народ, плохо кормленный, физически обессилел и плохо сте-

режет свое хозяйство. Избыток хлеба — дело великое, он тотчас даст народной энергии новые направления, поднимет уровень народных потребностей, повысит покупную способность крестьянской массы. Взамен потерянного для хлеба внешнего рынка у нас станет безгранично расти внутренний, и для хлеба, и для фабрикатов.

«Но куда же все-таки мы денем *избыток* хлеба? — спросите вы. — Ведь за самым широким расходованием его все же останутся сотни миллионов пудов». Я сомневаюсь, чтобы они остались без употребления. Есть лишний хлеб — в деревне играют лишнюю свадьбу, являются лишние рты. Население—при естественном порядке вещей — всегда догоняет свой хлеб и скорее перегоняет его, чем наоборот. Но допустимте, что хлеб остался, девать его некуда, что даже скотоводство поднято до возможной высоты. Пусть хлеба столько, что он почти ничего не стоит. Прямое следствие этой «беды» — то, что сократятся теперешние запашки, земля, непомерно раздутая в цене, подешевеет и сделается более доступной беднякам. Миллионы праздных рук найдут себе более приличное употребление, чем протягивание их за милостыней или для грабежа. Ведь если триста миллионов пудов хлеба остаются в стране, это все равно, как будто с народной шеи свалилось двадцать миллионов лишних едоков. То, что эти едоки англичане, немцы, французы— ничуть не легче того, как если бы они были русскими, — пожалуй, труднее. Накормить своих, не тратя на комиссии и на транзите, может быть, было бы втрое дешевле. Освободился хлеб — освободилась земля, освободились руки; народ может, передохнув немножко, избыток земли отводить под леса и пастбища, избыток энергии — на промыслы, искусства, науки. Теперь, когда изо всех сил мы вытягиваем зерно из почвы, чтобы сбыть его за границу, когда режем леса и обдираем степи, чтобы взять если не качеством зерна, то хоть количеством, мы заносим нож над нашей матерью-природой, мы подготовляем истощение стихий и вместе с ними гибель для нашего племени. Прекращение хлебного вывоза могло бы положить конец или по крайней мере задержать этот страшный процесс. Оно могло бы ввести питание народное в равновесие с природой, в чем вся задача общего блага.

Замкнутое богатство

Вы скажете, что закрытие границ отразится крайне неблагоприятно на тех, кто ведет внешнюю торговлю. Коммерческий интерес, взимаемый с производителя и с потребителя, исчезнет из их рук. Я замечу, что все это очень возможно. Трудно предположить, чтобы столь крутой переворот, если мы будем принуждены к нему, прошел совершенно незаметным. Вероятнее всего, что он вызовет известное — и, может быть, существенное перераспределение коммерческих барышей. Но так как взамен потерянного хлебного рынка Россия получит свой внутренний рынок мануфактурный, то капитал — которому ведь все равно, чем ни торговать, довольно скоро приспособится к новым условиям, примет другие, внутренние пути. Некоторые отдельные лица — как всегда бывает — разорятся, многие — разбогатеют. В общем государственное богатство должно не проиграть, а выиграть, и совершенно в тех же отношениях, в каких рассчитывают выиграть англичане, устраивая замкнутую федерацию. Их доводы, весьма серьезные, как раз применимы к нашей стране; у нас тоже ведь есть все климаты, все почвы, все царства природы, все естественные области и угодья. У нас земледелие могло бы прокормить не только себя, но и горные промыслы, как последние могли бы удовлетворить все нужды земледелия. Лесной район мог бы снабжать лесом всю Россию и т. п.

Если страна — подобно России или Англии — достаточно обширна, то закрытие границ не только не понижает народного богатства, но повышает его. Замкнутость дает богатству регулирующий принцип, обыкновенно расстраиваемый внешней торговлей. Все организмы замкнуты, и только при этом условии возможно здоровье и полнота сил. Раз в самой стране тратится все, что в ней приобретается, получается круговорот сил, жизненное равновесие, как в девственном лесу, как в Китае, пока он был замкнут. Можно сказать даже, что раз богатство тратится в своей стране, оно не тратится вовсе, а в общей сумме только накапливается. Поедаемый хлеб превращается в народную энергию, которая переходит в тысячи вещей, назначение которых оберегать эту энергию, усиливать ее. Это как в налаженном хозяйстве: скормленный овес не исчезает совсем, а превращается частью

в мускулы скота и в новую работу, частью в навоз и новое плодородие. Замкнутые страны — если они культурно организованы — способны только богатеть. Беднеют лишь те государства, у которых есть коммерческая течь, у которых часть народного достояния непроизводительно уходит за границу. Раз мы не будем терпеть убытка на международном обмене, для нас столь невыгодном, пока мы торгуем сырьем, у нас будет закрыта та изнурительная фонтанель, которая старой экономической медициной почему-то считается целебной. Народ наш обеднел до теперешней столь опасной степени не потому, что работает мало, а потому, что работает слишком много и сверх сил, и весь избыток его работы идет в пользу соседей. Энергия народная — вложенная в сырье — как пар из дырявого котла — теряется напрасно, и для собственной работы ее уже не хватает. Но если прекратится вывоз, — спросите вы, — то откуда мы возьмем средства платить проценты по внешним займам и самые займы? На какие деньги будем содержать посольства и военный флот в заграничных водах? На что будут существовать наши многочисленные путешественники и больные за границей? Раз необходимо выбрасывать из страны ежегодно сотни миллионов, нужно, чтобы они как-нибудь возвращались к нам. Вывоз решительно необходим, иначе все наше золото мгновенно и навсегда утечет за границу.

Ну, да, отвечу я: вывоз решительно необходим при *теперешних* наших отношениях к Западу. Но ведь мы же и не собираемся *сами* прекращать хлебного вывоза. Речь идет лишь о том возможном случае, если нас *принудят* к такому закрытию. Сколько ни твердите, что вывоз необходим, но если его закроют для нас, то ведь придется волей-неволей искать какие-нибудь выходы из этого затруднения. Замкнутость, если нам ее устроят соседи, потребует, конечно, национализации нашего государственного долга. Может быть, и с внешним долгом пришлось бы поступить так, как дважды в последнее столетие было поступлено с внутренним долгом, т. е. прибегли бы к девальвации, к понижению и капитальной суммы, и процентов по ней. Я отнюдь этой меры не рекомендую, но она практикуется. Замкнутость границ для туристов повела бы к развитию внутренних курортов и внутренних путешествий, к сокращению всех внешних трат до нормы золотого

притока к нам из-за границы. Ведь и к нам тоже приезжают иностранцы, у нас проживают чужие посольства, к нам заходят иностранные суда. Некоторое возмещение заграничных расходов было бы возможно помимо ввоза и вывоза. Золото ушло бы за границу лишь в случае непрекращающегося ввоза, но он не мыслим, если прекращен вывоз. Надо заметить, что в замкнутых государствах денежная система не требует обилия золота, и естественный прирост этого металла, добычей из земли, может быть, был бы достаточен для оплаты неторговых сношений между народами.

Я не хочу пускаться в догадки, я не уверен в возможности полного закрытия границ, как бы ни мечтали об этом англичане и немцы. Полная замкнутость — теоретическая идея, но известные приближения к ней допустимы и даже вероятны. Пусть нам удастся отстоять какие-нибудь мелкие рынки для сырья, — но *сокращение* вывоза даже на половину может в корне изменить внутреннюю жизнь России. А подобное сокращение почти неизбежно. Я хочу сказать только, что пугаться этой беды нет причин. Столь мощный, стихийный организм, как народ, не только приспособится к новым условиям, но — как мне кажется — найдет их более легкими, более естественными для себя. На наших коммерческих сношениях с Европой лежит печать глубокого суеверия — будто они источник нашего богатства. Пора бы тщательно проверить это и подробно обсудить. Может быть, как я убежден, открылось бы, что эти торговые сношения — скорее источник нашей бедности, что подобно тому, как у всех отсталых и «патриархальных» народов, наша торговля с культурными соседями выгодна для соседей и разорительна для нас. Европа для России, мне кажется, то же, что деревенский кулак для своей деревни. Кулак обыкновенно энергичнее, смышленее, грамотнее крестьян, он тоже променивает им за их сырье — цивилизованные продукты: водку, ситцы, крендели, керосин, сахар и т. п. В миниатюре тут идет та же международная торговля, но рассмотрите ее результаты. Деревня, несомненно, нищает, входит — как и отсталые страны — в неоплатные долги, тогда как кулак строит себе каменный дом с железной крышей и заводит рысаков. Нельзя сказать, что деревня вовсе не нуждается в цивилизованных продуктах, но они обходятся ей втрое дороже их действительной цены.

И как бы ни нужны были деревне ситцы, кренделй, сахар и т. п., все же нельзя сказать, что они безусловно необходимы. Исчезни кулак, деревня временно поскучала бы, — привычки менять трудно, а затем стала бы понемногу заменять недостающие товары самодельными: ситец — холстом, чай-сахар — квасом, водку — брагой и т. п. Ведь жила же когда-то, каких-нибудь пятьдесят — сто лет назад, не только деревня, но и дворянская усадьба средней руки «своим добром», сама себя одевала, кормила, поила и развлекала, и жили тогда в общем не хуже теперешнего. Сближение с Европой разорило Россию, разучило ее обслуживать свои нужды, лишило — как кулак деревню — экономической независимости. Правда, полвека назад сахар в деревне ценился чуть не на вес серебра, но зато мед был ни по чем. Теперь апельсины почти дешевле яблок, но страшно то, что яблоки уже дороже апельсинов. Самые простые, когда-то почти ничего не стоящие продукты деревни — грибы, ягоды, молоко, масло, дичь, раки, орехи — сделались народу уже едва доступными. Они обираются начисто скупщиками и увозятся в «центры», «за границу». Мне кажется, лучше бы опять вернуться — хоть в некоторой степени — к старому порядку, то есть чтобы яблоки были снова дешевле апельсинов. Я думаю, счастье народное не в том, чтобы потреблять хоть плохие, но чужие товары, а в том, чтобы было достаточно доброкачественных своих. Вся Россия переоделась в кумач и ситцы, но холст был и крепче, и мог бы быть красивее этих тканей. За холст мужик платил природе своей работой, он получал этот товар не из пятых рук, как ситец, и не приплачивал за него ни деревенскому, ни городскому кулаку, ни фабриканту, ни плантатору хлопка, ни железным дорогам, ни складам и т. п. Беря непосредственно из земли, обрабатывая сам сырые материалы, мужик все накладные барыши, все «добавочные стоимости» оставляет в кармане. Природа не купец: она лихвы не требует, и она навсегда останется самым дешевым поставщиком вещей. Прежде баба ткала холсты в зимние вечера и ночи, прежде каждому свободному получасу простой девчонке находилось дело: она садилась за прялку, за ткацкий стан. И вся семья была одета, и у каждой бабы были запасы полотна, кружев, полотенец, белья. Теперь у баб зимой уйма времени, они дуреют от скуки, но семья ходит

оборванная. Купить ситцу, конечно, в тысячу раз легче, чем соткать холста, но на что купить? «Купишь уехал в Париж, а в кармане остался шиш», — говорит умная пословица. Именно «в Париж» уехал наш русский «купишь». Чтобы добыть двадцать копеек на покупку двух аршин коленкора, бабе приходится идти за двадцать верст с десятком яиц, терять целый рабочий день, чтобы продать их, тратить на ходьбу столько сил, сколько достаточно было бы для того, чтобы соткать, может быть, десять аршин той же ткани.

«Китайская стена»

Немножко замкнутости нам не мешало бы — вот моя мысль, которую прошу не преувеличивать, не придавать ей крайности. Я далек от того, чтобы проповедовать «Китайскую стену» между народами, хотя — сказать в скобках — эту знаменитую «стену» вовсе не считаю такой глупостью, как это принято. Отгородиться от дурных соседей, от хищников, вовсе не худо. Одно из двух — или существуют отдельные человеческие хозяйства, именуемые государствами, или их нет. Если они есть, то — как и маленькие хозяйства — они должны быть в известной степени замкнутыми, уравновешенными в самих себе, и нельзя допустить, чтобы одно большое имение жило на счет другого. Иметь «все свое» — это философский идеал, и он мне кажется пригоден и для отдельного человека, и для народа. Как бы ни казался выгодным торговый взаимообмен— требуется крайняя осторожность, чтобы не остаться в проигрыше, не променять дорогое на дешевое. Это вовсе не национальный эгоизм. Не признавайте, если хотите, наций, не признавайте государств, считайте весь род людской за одну семью, считайте необходимой полную свободу обмена, как между братьями. Но тогда откажитесь вовсе от торговли, — между «братьями» какая же возможна торговля? По-евангельски, имущие должны делиться с неимущими, вот и все. Если же обмен невозможен иной, кроме торгового, то я не хотел бы быть коммерческой жертвой даже родного брата. Если под предлогом «братства народов» Европа пушками заставляет Китай покупать опиум, если под предлогом просвещения России к нам ввозят тысячи сомнительных вещей, обходящихся втридоро-

га, то такое «братство», такое «просвещение» должны быть строго проверены и, если это нужно, — отклонены. Ломоносов говорил, что не хотел бы быть дураком у самого Бога. И великому народу непристойно играть глупую роль — роль простака, на шее которого усаживаются более ловкие собратья. После обмана ближних всего позорнее быть самому обманутым. А в это глупое положение поставлен целый ряд народов. Кроме Индии, Китая, Египта просвещенные мореплаватели высасывают Испанию, Португалию, Грецию, отчасти Италию. Они же вместе с французами и австрийцами разорили Турцию, некогда столь богатую, убив своими фабрикатами ее народную промышленность. В значительной степени то же происходит и с Россией. Мы разоряемся от множества причин, но невыгодная связь наша с Западом — одна из главных.

«Да, но как же быть с братством человеческим? — спросите вы. — Как быть с всемирным единением, с прекрасной мечтой о том времени,

...когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся?»

Я позволю себе заметить, что некоторое материальное разъединение, может быть, лучше всего способствовало бы нравственному единству народов. Может быть, именно кипучий обмен товаров, причем каждая нация старается сорвать побольше со своей соседки, доводит международные отношения до теперешней раздраженности. Вспомните знаменитые «интересы Англии» на всех точках земного шара. Будь Англия замкнутым государством, она не имела бы повода опозорить себя бесстыдными захватами. Целые реки человеческой крови в Америке, Африке, Азии и Австралии остались бы непролитыми. Если бы далекие народы не видали английских пароходов и броненосцев, они судили бы об Англии по ее литературе, философии, науке. Они уважали бы ее более, чем теперь, и, может быть, любили бы. Вслед за британскими интересами тянутся германские, подкрепляемые тоже «бронированным кулаком». Тысячи вещей, получаемых нами из Германии, ни на йоту не вызывают у нас братских к ней чувств, хотя прежде один Шиллер или Гете, Гегель или Моцарт совершали настоящие завоевания, роднили нас с Германией, как со вторым отечеством. Пока речь идет об идеалах, о красоте, ис-

тине, добре, пока идет обмен духовного богатства — мы друзья и братья, но стоит аграриям закричать о тарифе на хлеб, о запрещении ввоза гусей, как отношения наши портятся. Народы, мне кажется, чрезмерно и без всякой нужды погрязли в рынках друг друга, они торгуют слишком много и часто совершенной дрянью. Это вовсе не взаимопомощь, а взаимное развращение. Распаленная корысть расстраивает достойные отношения. Сильно расторговавшись, народы утрачивают благородный склад души, они обмещаниваются, жидовеют, начинают смотреть друг на друга не как на друзей или честных врагов, а как на коммерческую добычу. «Не обманешь — не продашь» — это девиз не только грубой торговли, но и самой тонкой. Обмен невозможен без обмана, вольного или невольного, — невозможен без известного гипноза, соблазна, моды, подражания, без некоторого легкого помешательства покупателей. Если вспомнить, что три четверти вещей удовлетворяют тщеславию, а половина остальных — жадности, то психологическая близость обмана и обмена стала ясной. А на чем, как не на заблуждении публики, основана борьба рынков, биржевые ажиотажи, все эти банковские крахи и банкротства? Если все это — «единение», то не худо, если бы его было поменьше. Торговля в каком-то своем фазисе сближает народы, но теперь и без помощи караванов и ярмарок мы знаем друг о друге все нужное и даже знаем много лишнего. Торговля знакомит очень часто с тем, чему лучше бы оставаться неизвестным. Если бы путем торговли не распространялись по земле: спирт, табак, опий, порох, соблазнительные книги, картины и предметы, целые породы людей были бы сохранены, уцелели бы многие прекрасные миросозерцания и культуры, художественно слагавшиеся в некоторых замкнутых странах. Соединяя народы в области чувственной, торговля ослабляет идеальные отношения. Если мы любим до сих пор Италию, Испанию, Грецию, Голландию и т. п., то, может быть, потому лишь, что не торгуем с ними. Мы любим их платонически, за их красоту и гений. Когда-то наши деды также увлекались Францией, Англией, Германией. Теперь наши чувства к последним странам остыли. Мы слишком связаны с ними материально. Мы безотчетно сознаем в лице этих народов кроме умственной еще какую-то иную силу, для нас опасную,—

силу богатства, пускающего корни в нашу бедность и высасывающую из нее соки.

Когда к нам вторгаются иностранные капиталы, мы знаем, что не для нашей, а для своей выгоды они пришли в Россию, и что вернутся они нагруженные нашим же добром. Но товар иностранный есть скрытая форма капитала — он всегда возвращается за границу, обросший прибылью. Сознавая это, не следует слишком жалеть, если Россия окажется замкнутой. Немножко отдохнуть от иноземной корысти, немножко эмансипировать от Европы нам не мешает.

НА ВЕЛИКОЙ СТРАЖЕ

Октябрь 1902 г.

Начало осени — затихает народный труд, подымается волна образованной жизни. Прострадав с неимоверными усилиями «страду» свою, крестьянин мечтает о зимнем отдыхе, мы же, образованное общество, именно теперь начинаем свою работу. «Густолиственных кленов аллеи», берега морей, ущелья гор — вся поэзия каникул и отпусков позади: начинается зимний, серьезный труд. Осенний съезд интеллигенции в городах похож на какую-то мобилизацию: одновременно и дружно начинают действовать школы, гимназии, университеты, академии, институты, курсы. Чиновники являются в свои канцелярии с новыми, на чистом воздухе надуманными проектами, с обновленною усидчивостью и подправленною печенью или желудком. Редакции журналов выпускают утолщенные и «украшенные именами» книжки. Открываются театры, лекции, концерты, выставки, салоны... На все это, даже на салонную болтовню, требуется много умственных сил. Даже театр, куда едут развлечься, — разве это не труд, если отнестись к нему серьезно? Высидел четыре часа хорошей, хорошо разыгрываемой драмы — какое глубокое волнение для впечатлительного сердца, какое перерабатывание вновь и вновь своей души! Я не говорю о труде неизбежном и почти каторжном — посещении плохих театров, плохих концертов и лекций. Здесь потеря умственной энергии ничем невознаградима.

Начало осени — образованное сословие, как актер перед выходом на сцену, невольно обдумывает свою роль — роль огромную в стране столь малограмотной и умственно темной. В будничной сутолоке просвещенный класс забывает свое призвание, а между тем оно полно ответственности безграничной, оно требует всего внимания, на какое мы способны. В океане вре-

мени государственный корабль наш движется среди опасностей, и мы — теперешнее образованное поколение — стоим на вахте. Простой народ живет в блаженном неведении, образованное общество есть его сила, предусматривающая и ведущая. Как живое тело вооружено в верхней части приборами — зрительными, обонятельными, слуховыми и др., народ жизнеспособный вооружен сословиями, которые должны видеть зорко, слышать отчетливо и различать даже отдаленный запах беды. Наше племя, поместившееся столь неудобно между Европой и Азией, на дороге великих нашествий — особенно должно быть настороже. И с Запада, и с Востока на нас глядят народы сильные, старой, хорошо созревшей культуры. Они вооружены «до зубов», как говорят французы, не только орудиями истребления, но и движущею силою всякого оружия — знанием, против которого единственное средство—знание же, не менее утонченное. Кроме давлений дипломатических и военных, мы окружены мирным изнуряющим нас международным соперничеством. В обмене культурной энергии, промышленности и торговли баланс складывается не в нашу пользу, и здесь спасающее начало — ум и знание. Но враги и соперники не так страшны. Несравненно опаснее их для народа — сам народ, тою внутреннею враждою и внутренним соперничеством, которые, как трение в плохой машине, действуют разрушительнее внешних толчков. Установить согласие частей, их закономерное равновесие, уничтожить засоренность и грязь, мешающую ходу машины, — чья это задача, если не образованного общества? В сказочные времена Русь защищалась богатырскою дружиною. Помните чудную картину Васнецова — три богатыря на заставе, с каким напряженным вниманием они высматривают опасность. Особенно хорош старший богатырь, Илья Муромец, с седыми кудрями из-под шлема. Он похож лицом на Льва Толстого, который тоже, как богатырь, стоит теперь на страже нашего просвещения вместе с Достоевским и Тургеневым, стоит уже полвека, пережив свою дружину. Начиная со Святогора поэзии нашей, что залег вечным сном в Святых Горах, великие писатели отстаивали разум России. Интересно: что видит — на картине Васнецова — старый Илья Муромец, приложив к бровям руку с тяжелой палицей и всматриваясь в горизонт?

Упадок просвещения

Тихо отпраздновала Россия полстолетия богатырской литературной работы гр. Л. Н. Толстого. Какое счастье, что мы — и с нами все образованное человечество — слышим еще живой голос великого человека! Не из-за гроба, а из глубины бьющегося горячей кровью сердца раздается этот голос неподкупной совести и ясного, как солнечный день, сознания. Как будто чувствуя, что от него ждут слова в этот достопамятный год, Л. Н. Толстой написал еще весною несколько страничек, где подводит краткий итог человеческому просвещению за полвека. Итог, как вы помните, получается довольно неожиданный и грустный. Юбиляру говорят: «Вы — наша гордость, ваш юбилей — торжество нашего просвещения, пред вами склоняется весь образованный мир!..» А он в ответ этому склоненному пред ним европейскому обществу: «Какой вы образованный мир? Вы идете назад, вы дичаете, вы все больше и больше погружаетесь «в самое безнадежное, довольное собой и потому неисправимое невежество».

Это обличение прямо библейское по своей суровости. Нет нужды, что оно появилось мимоходом, на семи страничках, в предисловии к одной хорошей книге *. Как речь английского министра, сказанная где-нибудь за завтраком, — это маленькое «предисловие» выражает urbi et orbi ** действительный взгляд великого писателя на самый центральный факт европейской жизни.

«На моей памяти, — пишет Л. Н. Толстой, — за 50 лет совершилось поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики, и проследить это понижение можно по всем отраслям литературы». Родившийся в век Пушкина, Толстой указывает, как после Пушкина и Лермонтова поэтическая слава переходит постепенно к авторам все меньшего и меньшего таланта, пока в наше время не явились стихотворцы, «которые даже не знают, что такое поэзия, и что значит то, что они пишут». Упадок вкуса и здравого смысла замечается не только в России, но и во всем

---

* К роману *Поленца* «Крестьянин».

** Городу (Риму) и миру (т. е. всему миру, для общего сведения) *(лат.)*.

свете. Так, английская проза «от великого Диккенса спускается сначала к Джорджу Эллиоту, потом к Теккерею, от Теккерея к Троллопу, а потом уже начинается бесконечная фабрикация Киплингов, Голькенов, Ройдер Гагарт и пр. Тоже в Америке: «После великой плеяды — Эмерсона, Торо, Лойеля, Уитиера и др. вдруг все обрывается и являются прекрасные издания с прекрасными иллюстрациями и с рассказами и романами, которые невозможно читать по отсутствию в них всякого содержания». Одинаковый упадок чувствуется в философской литературе, где в конце века торжествует Ницше. Великий наш писатель выпукло подчеркивает «невежество образованной толпы» и объясняет его чрезмерным развитием книгопечатания. «Книгопечатание, — говорит он, — несомненно полезное для больших малообразованных масс народа, в свете достаточных людей уже давно служит главным орудием распространения невежества, а не просвещения». Если в наше время «умному молодому человеку из народа, желающему образоваться, дать доступ ко всем книгам, журналам, газетам и предоставить его самому себе в выборе чтения, то все вероятия за то, что он в продолжение десяти лет неустанно читая каждый день, будет читать все глупые и безнравственные книги. Попасть ему на хорошую книгу так же мало вероятно, как найти замеченную горошину в мере гороха». На ходячий взгляд печать есть самое могучее орудие просвещения, и мы, журналисты, готовимся шумно отпраздновать 200-летие со дня издания у нас первой газетки, — а величайший из авторов наших заявляет, что книгопечатание убивает мысль. «По мере все большего и большего распространения газет, журналов и книг, вообще книгопечатания, говорит он, все ниже и ниже спускается уровень достоинства печатаемого и все больше и больше погружается большая масса так называемой образованной публики в самое безнадежное, довольное собой и потому неисправимое невежество». В конце концов Л. Н. Толстой считает возможным ставить вопрос даже об окончательной гибели «последних проблесков просвещения в нашем так называемом образованном европейском обществе», считает возможным предсказать эту гибель в том случае, если не придет достаточно авторитетная, бескорыстная и беспартийная критика, которая решала бы: что читать?

Так вот к какому грустному выводу пришел великий писатель за полстолетие своей кипучей работы. Конечно, ни один юбиляр на свете не говорил восторженной толпе столь откровенной правды. В эту правду нужно долго вдумываться, чтобы согласиться с нею, до такой степени она кажется преувеличенной. Желая спорить с Толстым, «так называемое образованное европейское общество» могло бы возразить, что при всем упадке вкуса и здравого смысла оно все-таки оценило то, что бесспорно хорошо в литературе, например Льва Толстого. Таланты гораздо меньшей величины все-таки замечены и в лице некоторых превознесены скорее выше меры. Вспомним, что в век Пушкина очень многие ставили Кукольника и Марлинского выше Пушкина; было бы странно, если бы в наше время не встречались люди с дурным вкусом. Правда, теперь пользуются известностью и не крупные поэты, но где же живые Пушкины и Лермонтовы, в сиянии которых исчезал бы легион стихотворцев? Нет солнца и, естественно, становятся заметными звезды. Не потому английская литература упала от Диккенса до Гагарта, что упал вкус и здравый смысл англичан, а просто потому, что Диккенсы не рождаются каждый день. Та среда, где вырос великий Диккенс, и то чтение, на котором он воспитан, далеко не были образцовыми; в миллионе случаев та же среда и то же чтение не выдвинули даже Киплинга. Великие таланты, образцы здравого смысла, рождаются по каким-то своим законам; книгопечатание не могло остановить их появления, так как и у нас, и в Европе огромное большинство народа почти ничего не читает. Наконец, самое чтение плохих книг и газет — вовсе не настолько влиятельно, чтобы отнять здравый смысл, если он у читателя есть. Ведь и в старину, — если не было теперешнего обилия газет, как теперь, то было не меньшее обилие глупых людей, разговор с которыми не выше газетного чтения. Книгопечатание наполняет книжный рынок дрянью, но, подобно дурной провизии, эта дрянь необязательна для покупателя. Покупают книгу вовсе не без разбора, и если по ошибке покупают плохую книгу, обыкновенно не читают ее. Если же плохая книга нравится, то это признак, что в каком-то отношении она хороша и что лучшая книга в данном случае была бы, может быть, бесполезна. Великие книги всем доступны, они де-

шевле плохих сочинений, если же мало читаются, то потому лишь, что для среднего человека они просто неинтересны. В тех грамотных слоях, где не читают газет и журналов, одинаково не читают и великих авторов. Добросовестная критика нужна, но едва ли она в состоянии заставить глупых людей читать умные книги, и едва ли из такого чтения вышел бы толк. Людям свойственно полагаться на свой вкус; кто со вкусом — читает хороших авторов, огромное же большинство предпочитает им газетный, подножный корм. Народ вовсе не так беспомощен в хаосе книг. Кроме собственного чутья грамотного человека руководит если не критика, то репутация автора. Разве теперешнему грамотному народу нужно указывать на Толстого, Тургенева, Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Пушкина? Разве не всем полуобразованным людям известно о существовании Диккенса или Эмерсона? Великие авторы внутренно доступны лишь исключительному кругу, и кому из читателей свойственно высокое образование, тот и образовывается по типу великих душ. Большинству же это несвойственно, и уж с этим ничего не поделаешь.

Официальный приговор

Так хочется спорить против слишком горькой правды Л. Н. Толстого. Однако внутренно чувствуешь, что это все-таки правда, что вкус публики действительно падает и что бумажный потоп каким-то образом повинен в этом падении. Может быть, не по приведенным, а по другим, более глубоким основаниям, скрытым в мысли великого писателя, он и на этот раз прав. Мне кажется, если бы Толстой сказал просто, без всяких доказательств, что он замечает упадок вкуса в обществе, то его мнение имело бы огромную важность, — и, пожалуй, оно было бы еще убедительнее, чем обставленное доказательствами. Ведь точные доводы здесь невозможны, как в оценке, например, аромата или цветового оттенка. Нам приходится верить художнику и мудрецу, просто предполагая его вкус более чистым, чем наш собственный. Здравый смысл, влечение к истине коренится в характере данной породы, зависит от ее возраста, от духа века, от множества глубоких и даже мистических причин. Но чем меньше рассуждаешь, тем ярче сознаешь, что образованность в нашем обществе идет действительно на

убыль, что ширясь в количестве, она теряет что-то в качестве. Несомненно, что пылкое одушевление начала XIX века остыло, уровень философской и художественной литературы понизился, что интеллигенция сделалась менее интеллигентной. Пусть университеты множатся, пусть программы образования растут, пусть печатное наводнение проникает во все поры общества — вопреки всему этому или отчасти вследствие этого общий тон жизни делается все менее духовным.

Если судить о количестве выдаваемых дипломов, то образованность наша растет широко, но что такое диплом? Это кредитная бумага, действительная цена которой загадочна. Подобно многим бумажным ценностям, диплом свидетельствует часто о богатстве, которое должно бы быть и которого, увы, уже нет. Диплом есть обязательство, на котором основаны права; последние бесспорны, но кто проверяет самое наличие знаний? Вы скажете — жизнь, но жизнь есть большая ложь и свидетель совсем неверный. В минуту искренности образованное общество наше кается в своих грехах. Инженеры без слов признаются, что их постройки плохи, доктора — вроде г. Вересаева — вопят о своем невежестве и даже прямо неспособности что-нибудь точно видеть в темной пропасти своей науки. Недавно самое образованное из наших ведомств сделало серьезную попытку проверить свое умственное богатство, исследовать, насколько образована самая живая часть интеллигенции — молодые юристы. Опытным судебным деятелем было предложено дать отзыв о дипломированной молодежи, и отзыв получился очень грустный. Он в статье В. Д. Дерюжинского приведен в официальном журнале, и, значит, представляет своего рода документ, вроде аттестата зрелости. «Неумение окончивших курс студентов-юристов правильно и свободно выражаться и писать по-русски доходит у некоторых из них до степени прискорбной малограмотности», — говорит отзыв. «Абсолютное незнание новых языков затрудняет ознакомление с иностранным юридическим опытом, скудность сведений в области наук и литературы, необходимых каждому образованному человеку, а следовательно, и образованному юристу, ставят молодого профессионала в самое неловкое и беспомощное положение» и проч. Отзыв этот тем серьезнее, что подкрепляется мнением министра юстиции. Говоря о необходимости для юри-

ста широкого и разностороннего образования, Н. В. Муравьев говорит: «Между тем оканчивающие в настоящее время высшие учебные заведения молодые люди в большинстве случаев не выносят из них в практическую жизнь привычки ни к серьезному чтению, ни к отвлеченному логическому мышлению, ни к какой-либо самостоятельной работе». Необразованность доходит до того, что молодые юристы «очень часто», по словам министра, не умеют различить такие понятия, как «кража», «разбой», «грабеж». «Многие не знают разницы между полным собранием законов, сводом законов и собранием узаконений; еще больше лиц, незнакомых с содержанием свода» и проч.

Вот каковы у нас многие молодые юристы, а между тем они получили торжественные удостоверения за огромною государственною печатью в том, что они знатоки права. Так как юристы составляют более 43% всего состава университетских слушателей, то именно они и дают молодой интеллигенции нашей свой тон и цвет. Они по общей образованности своей нисколько не ниже докторов, инженеров, лесников и т. п. — скорее выше. Изучая юстицию, которая есть прикладная справедливость, — юристы должны знакомиться с природой человеческой души, с психологией, этикой, эстетикой, религией, философией, историей мысли, с кругом наук гуманитарных, которые, в отличие от технического специализма, всегда признавались образованностью по преимуществу. Если же и юристы обнаруживают признаки «прискорбной малограмотности», то это, вероятно, явление не только этой профессии, и тем более оно печально. Мне приходилось встречаться с некоторыми старыми судебными деятелями — они, напротив, удивляют своею утонченной и широкой образованностью. Старая юстиция выдвинула не только ряд блестящих талантов и замечательных ученых, но и людей, которые могли бы считаться носителями европейского просвещения. Каким же образом поколение, столь богатое умственными силами, так быстро сменяется полуневежественною молодежью? Не прав ли Л. Н. Толстой, — хочется сказать, — не более ли он прав, чем предполагает сам, т. е. «упадок вкуса и здравого смысла» не охватывает ли в большей или меньшей степени не только философию и литературу, но и весь круг жизни нашего образованного общества?

Пора об этом подумать

Если есть хоть часть правды в этом ужасном открытии, то русскому обществу следует подумать о нем серьезно. Что если в самом деле мы вместо умственного прогресса да идем назад, сами того не подозревая? Что если накануне всеобщей народной грамотности мы в то же время накануне интеллигентного банкротства? Что если нас ожидает та самая, насыщенная книжными внушениями спячка, в которую погружен Восток? Есть у нас множество благородных мечтателей, которые думают, что дайте народу грамотность — и прогресс обеспечен. Но китайцы, корейцы, даже наши среднеазиатские туземцы — все они поголовно грамотны — и далеко ли, спрашивается, они ушли со своею грамотностью? В корейских деревнях, как рассказывают, любимое занятие жителей — литературные споры, бесконечный разбор старинных текстов. Тем же литературным крохоборством, комментаторством, компиляцией отличается китайская, арабская, еврейская и вообще восточная образованность: она всем обильна, кроме хорошего вкуса и здравого смысла. Азиатская интеллигенция уже многие века как-то странно остановилась в своем развитии, захирела, и природный гений этих замечательных народов не в силах сбросить с себя злые чары. У индусов, китайцев, персов, арабов сохранились памятники, свидетельствующие о когда-то бывшей роскошной умственной свежести, о почти недосягаемом теперь парении мысли. У всех был золотой век и у всех сменился непостижимо печальным упадком. Отчего это? И не страшна ли уже одна мысль, что и нас может постичь та же участь?

Упадок просвещения, мне кажется, зависит от множества причин, и, между прочим, от все растущей населенности. Образованная жизнь завязывается обыкновенно в кругу аристократии, в касте жрецов или свободных граждан. Замкнутый богатый класс создает культуру ума и вкуса, как земледельцы создают огородную культуру. При падении аристократии совершается то же, что происходит при снятии огородной изгороди: дикая природа постепенно вытесняет культурную. Предоставленные самим себе, без крайне тщательного ухода, овощи и фрукты очень быстро возвращаются к первичному типу. Демократия, конечно,

жадно стремится к знанию, но с корыстной целью, и потому истинное просвещение ей несвойственно. Из народа, конечно, выходят великие люди, — но это прирожденные аристократы, и они в природе большая редкость. Подавляющее большинство народное не может — просто по недосугу — выработать такую драгоценность, как умственный вкус, и по той же причине не в состоянии усвоить себе и чужого утонченного вкуса. Тут своего рода Мальтусов закон: просвещение никогда не может поспеть за населением. У нас ежегодно оканчивают свое образование едва ли более десяти тысяч человек, между тем в государстве каждый год нарождается от $1^1/_2$ до 2 миллионов душ. Если сейчас люди образованные составляют, скажем, одну сотую народной массы, то с каждым десятилетием этот процент уменьшается. Одна сотая постепенно тает до одной тысячной, одной миллионной и т. д. При замкнутой аристократии это не имело значения — народ мог размножаться сколько угодно, он не выходил из темноты. Просвещенное общество лежало на поверхности нации, как слой масла на воде. Теперь же все перемешалось; демократия поднимается до вершин общества и несет всюду свои вкусы. И ход жизни, и христианство требует равенства, но равенство понижает совершенство. Книгопечатание создает из умственной деятельности толпы общую атмосферу, где индивидуальная мысль гаснет. Свободная и творческая в кругу избранных, мысль подвергается жестокому рабству в толпе и на веки кристаллизуется в общенародные формы. Китай, мне кажется, был умственно задавлен чрезмерным ростом своего населения, которое, поднимаясь, затопило, наконец, свою интеллигенцию. Нам и всей Европе предстоит, может быть, та же участь, та же китайская неподвижность, если не будет найдено какое-нибудь средство, спасающее от общего гипноза. Китаизм в сущности есть не что иное, как торжество народности — все равно, монгольской или американской, потому что всякая демократия, как масса, по природе своей инертна. Умственное варварство совершенно совместимо с прогрессом техники, с граммофонами и моторами, и сознание того, что мы идем к этому варварству, давно тревожит чуткие умы в Европе. «La vulgarité prévaudra!» * — говорил Миш-

* «Пошлость восторжествует!» *(фр.)*

ле, и упадок идеализма в Европе подтверждает это пророчество. С тех пор как свет стоит, все истинно изящное, утонченное, глубокое вырабатывается вне толпы, в тишине и замкнутости; только уединенные группы людей делаются культурными, и только обособленный народ принимает до глубин своих благородный облик. Новая эпоха раздробила всю межклеточную ткань общества, и теперь устанавливается общая огромная глухонемая жизнь толпы, внешне просвещенной, внутренно лишенной «вкуса и здравого смысла». Вот что вырисовывается во мгле будущего. Правда это или нет?

Начиная свою зимнюю, утомительную работу, наше образованное общество имеет повод подумать и о самом себе. Все ли благополучно в области самого драгоценного нашего интереса — умственного развития? Поддерживается ли на должной высоте именно та способность, которая выдвинула просвещенный класс к господству над народом и которая составляет единственное право на это господство? Так называемые интеллигентные профессии — служба, наука, искусство, литература могут выполняться и людьми высокого развития, и людьми почти совсем невежественными. В первом случае это будет горение яркое, орошающее жизнь народную потоками живого света, во втором — это будет тление, дымное и смрадное, которое к народной темноте прибавляет еще искусственный мрак. Университеты и профессора есть и на Востоке, они не спасают от одичания. Обществу нельзя успокаивать себя тем, что у нас есть по положению кое-какие ученые, кое-какие литераторы, посредственные чиновники... «Кое-что» в области умственной хуже, чем ничто. Полуистина есть всегда ошибка, полупросвещение есть всегда невежество, полуразвитие — бессилие, которое непременно скажется на судьбе народной. Столь огромный, добрый и даровитый народ, каков наш, принося безмерные жертвы, чтобы содержать культуру, которой он так мало пользуется, — народ имеет право требовать от образованного круга, чтобы он был действительно образованным, чтобы благородство духа, вкус и здравый смысл поддерживались бы неизменно на той высоте, какая доказана, как возможная. Как столб света перед скинией в пустыне, умственная сила интеллигенции есть свет ведущий и затмение его есть народная опасность.

1905 год

БЛАГОДАРНОСТЬ

Январь 1905 г.

«Змея ужалила орла». Ровно год, как Япония, не бросив рыцарского вызова, глубоко ранила нашу страну. Год мучительной боли, год судорог, тщетных попыток расправить огромные крылья и могучие, когда-то грозные Востоку когти...

В эту печальную годовщину прежде всего хочется принести глубокую благодарность нашему погибшему флоту и бьющейся насмерть армии. Что делать, — пусть нет побед, пусть флот и армия не выходят из поражений, прямо неслыханных в нашей истории. Но они ли виноваты, страдальцы наши, которые шли с верою и честью отстаивать безнадежное дело? На них ли позор, раз они пали в борьбе неравной? Не за победы, которых нет, и не за мужество, еще раз признанное всем светом, — хочется поклониться армии за ее неисчислимые труды, за страдания, за кровь, пролитую без меры, за лютые увечья и раны, и наконец за нравственные ее муки, за горькую судьбу— умирать, не побеждая...

Говорят, Япония беснуется от счастья и торжеству ее нет предела. Пусть так. Пусть к восторгам победы армия и флот Японии приложат почести своего народа и всемирную, отнятую у нас славу. Мы поклонимся своей побежденной армии за ее несчастье, которому тоже нет предела. Вынести на своих нервах — человеческих же, не железных, — этот год войны, год ужасов, изнуренья, надежд, непрерывного дыханья смерти, и в конце концов чувствовать, что все это напрасно... Знать, что на них в тоске смотрит вся Россия и в злорадстве весь враждебный мир... Знать, что на них глядит история и потомство, что победа России нужна смертельно, что победа так в сущности возможна и так естественна при наших народных силах, — знать все это и погибать...

Вспомним с глубокой болью и о тех, чья жизнь теперь не краше смерти, о тридцати тысячах пленных, которые чахнут от тоски и горя. «Встать! Шапки долой!» — поминутно кричит им японский капрал. Вы только вообразите себе, как эта огромная толпа русских людей смиренно подымается и обнажает головы. Входит член японского парламента, какой-нибудь адвокат, и, надменно вздернув плоский носик и оскалив зубы, обходит медленно наших мучеников. Нарочно тянет это удовольствие, как ликер через соломинку. Оборванные, грязные, изможденные, обросшие волосами, хворые от пережитых страданий, пленники глядят в землю и ждут, когда любопытный макака пощадит их, когда кончится пытка. Но членов парламента несколько сот, и каждый — особа. Поэтому, едва сели, снова крик: «Встать! Шапки долой!» И опять встают бедняки наши под страхом голода, тюрьмы и побоев. Едва сели, опять: «Встать! Шапки долой!» Кроме членов парламента есть члены государственного совета, министры, генералы, судьи и наконец просто граждане свободной страны. Корреспондент пишет, что этот оклик «Встать!», это наглое любованье победителей своими пленными, это издевательство над их бедствием приводит наших в отчаяние. Лучше бы помереть в Порт-Артуре, говорят они. И хоть они знают, что родина не выручила их и ничем не может помочь, но если даже в душе-то своей они не почувствуют жалости своего отечества... За что же так уж казнить их?

Год войны. Земля успела обежать вокруг солнца и во всех частях неба показала позор наш и торжество Японии. Погибли лучшие генералы наши и адмиралы, Кондратенко, Келлер, Макаров, Витгефт. Целая дюжина генералов и адмиралов попала в плен. А те, кто ехали за славой и победой, грустно возвращаются назад. Вернулся наместник, потерявший наместничество, вернулся главнокомандующий флотом, потерявший флот, возвращается начальник крепости, потерявший крепость. Возвращается командующий 2-й армией. Печать начинает доказывать необходимость перемены главнокомандующего...

Отчего все это произошло? Мне кажется, нет вопроса более огромного, более решающего судьбу России, как этот. Наше внутреннее брожение, уверяю вас, чистый вздор в сравнении с громадною опасностью, нависшею извне. Брожение — наше домашнее дело,

с ним справиться ничего нет легче. Откройте клапан, и пар выйдет. Не затрачивая ни гроша, не прибегая ни к займам, ни к миллионным заказам, ни к постройке второй колеи, ни к разорительной мобилизации, а главное — не проливая капли крови, можно решить весь этот вопрос без остатка. Капля чернил для этого потребуется и лист бумаги, не более. Капля чернил — и полная внутренняя победа, желанный мир и неслыханное в будущем народное торжество. Так, по моему разумению, несложен этот внутренний вопрос. Неизмеримо труднее внешний. Если внутри нет иных преград, кроме психологических—пусть они иногда крепче каменных стен, — зато снаружи мы окружены страшными и беспощадными силами, не знающими иной логики, кроме сопротивления. Каковы бы ни были поломки внутри корабля — они ничто в сравнении с встретившимся подводным камнем. Наш государственный корабль получил тяжкую пробоину и бьется о рифы. Прежде всего, безусловно, необходимо сняться с рифа и остановить течь. Войну непременно нужно закончить — и закончить благополучно, иначе со всеми внутренними реформами мы потонем.

Леруа-Болье в «La Revue» совершенно неверно утверждает, будто все, кто стоит за коренную реформу в России, стоят за немедленное прекращение войны. Говорить так, значит, не знать не только России, но и человеческой души. Нет сомнения, что народ русский, свободно спрошенный, ни за что не согласился бы на позорный мир. Это только бюрократия с легким сердцем уступает народные права. Сам народ за них постоять умеет. Мое глубокое убеждение, что как только соберут земский собор, если соберут его, — настанет конец нашей нерешительности. Вся страна будет охвачена таким пламенем самосознания, такой горячей любовью к независимости, что готова будет сражаться с целым светом. Страсть национального, державного бытия именно тогда проснется, и все великие вопросы, затертые бюрократией, безнадежно испорченные, вновь будут поставлены высоко и твердо. Конец будет нашему параличу, мы бросимся к войне этой как к очередной катастрофе и непременно справимся с ней. Господа, вспомните историю. Воскресший народ прежде всего хватался за меч. Расстроенные армии быстро приводились в порядок, являлись гениальные полководцы. Внешние коршуны и шака-

лы, собиравшиеся полакомиться трупом, принуждены бывали отступать, ушибленные жестоко. Так было при Петре Великом, Наполеоне I, Бисмарке. Да, но для чудесного воскресения нужно что-то побольше, чем малодушие, что-то побольше, чем готовность получить пощечину и расписаться в ней...

Мертвый дух

В русской жизни, как в сказке, действуют два духа — живой и мертвый. Живой дух — это дух народный, дух кипучей борьбы за существование, дух нужды и энергии, которая из нее сверкает. Ежедневный голод заставляет народ изворачиваться на тысячу ладов, и это дает разуму народному тот гений, которым отличаются трудовые расы. Там, где к государственному делу призван сам народ, он вносит в это дело ту же голодную страстность, то же напряжение, изворотливость, способность достигать не призрачные, а реальные цели. Но есть другой дух — мертвый и мертвящий все, к чему бы ни прикоснулся. Это когда вы не хозяин своего дела, а наемник, когда нет над вами ни должного надзора, ни ответственности, когда «дело не медведь — в лес не убежит», когда достаточно «дела не делать и от дела не бегать», когда, одним словом, вы чиновник, наш русский чиновник. Бюрократы могут быть лично прекрасными людьми, но бумажный дух, их сомнамбулирующий, как азот, останавливает всякое дыхание. Центральное зло нашей великой армии то же, что всей страны, — бюрократизм.

Я назвал нашу армию великой потому, что она могла бы быть такой. На бумаге это самая огромная армия в свете. В то время как Германия содержит 575 000 чел. постоянной армии, а весь Тройственный союз — 1 192 000 человек, Россия *в мирное время* содержит миллион сто семьдесят три тысячи солдат *. Ничего подобного нигде нет на свете и никогда не было. Против 23 германских корпусов мы держим на западной границе 23 корпуса, против двух азиатско-турецких держим два корпуса на Кавказе, против 70-тысячной англо-индийской армии — равную ей по численности в Средней Азии. Наконец, против 13

* Löbell's Jahrbuch. 1902.

японских дивизий в мирное время мы держали 9 стрелковых и три пехотные дивизии. Со времен Петра Великого Россия приносила своей армии безмерные жертвы. Как гласит отчет г. Витте (1902 г.), в ежегодной бюджетной росписи сначала полностью удовлетворяется военное ведомство, и уже остатки от бюджета делятся остальными. Все государство поставлено, сколько можно, на военный лад. Целые области управляются военными генерал-губернаторами. Большинство высших государственных должностей занято военными. Казалось бы, как такой военной державе, вооруженной с головы до ног, уступить какой-то выскочке, азиатской карликовой стране, всего пятьдесят лет как заведшей европейское вооружение?

«Казалось бы, — пишет мне один офицер, — армия наша должна быть образцом для всех армий мира и по организации, и по снаряжению, и по вооружению, и личному составу превосходно обученных солдат, грамотных, развитых, понимающих, что от них требуют, с корпусом унтер-офицеров — профессиональных солдат, прошедших специальные школы и могущих в случае нужды заменить офицеров — не в смысле только голосистого выкрикивания команды. Казалось бы, именно наша армия должна бы обладать корпусом офицеров, всецело преданных своей службе и идущих впереди военного искусства и военной науки. Казалось бы, именно у нас должны были бы процветать такие гражданские организации, каковы «военные общества» Германии, «кружки запасных», стрелковые и гимнастические союзы и т. п. организации, поддерживающие связь армии с народом и военные нравы. Казалось бы, именно у нас должны бы учиться соседние армии и от нас приглашать инструкторов такие страны, как Китай, Турция, Чили. То ли мы видим в действительности?»

Подобно Турции, военное могущество которой продолжалось 150 лет, в нашей истории имеется полтора столетия почти сплошных военных успехов, от Полтавы до Севастополя. За это время мы разгромили три великие державы: Швецию, Польшу, Турцию, отняв у них от половины до трех четвертей территории. Только случайность спасла от разгрома Пруссию (в Семилетней войне) и Англию — при Павле. Даже великие полководцы — Карл XII, Фридрих II и Наполеон I — сложили свое оружие пред Россией. Подобно Турции,

с успехом боровшейся с одряхлевшими средневековыми государствами Европы, Россия умела побеждать в то столетие, когда порядки в Европе были немногим лучше наших. При старом режиме свежая, хоть и варварская сила России имела бесспорный перевес над выродившимся феодализмом Запада. Но в конце XVIII века произошло великое Возрождение западного христианства, внезапный подъем нравственных идей, философии, науки и искусств. Европа вся перегорела в благотворном внутреннем огне и вышла из него молодою, свежею, сильною, тогда как мы тяжелым насилием подавили в себе этот огонь. Ту крепостнически-полицейскую кожу, которую сбросила с себя Европа, мы напялили на себя, вообразив, что это-то и есть настоящий цивилизованный быт. От пожара Москвы до Севастополя мы тщательно усваивали те обычаи и начала, от которых Европа тщательно освобождалась. Приказный дух, сложившийся еще до Петра и ослабевший при нем и Екатерине II, снова укрепился в первую половину XIX века. Отмена крепостного права только усилила этот дух: все крепостные права помещиков перешли к бюрократии и поникло единственное сколько-нибудь независимое сословие — поместное дворянство. Поступив на службу, оно усилило этим чиновничество и ослабило то сопротивление, которое прежде жизнь оказывала канцелярии. Пышный расцвет бюрократизма обнаружился в эпоху Плевны, горький плод его — в эпоху Порт-Артура.

На Западе Россию привыкли издавна считать военной державой. Зная, что земледелие наше первобытно, что промышленность зачаточна, что наука заимствована, и не забывая, чем мы выдвинулись при Петре и Екатерине, там склонны думать, что единственный наш национальный промысел — война, единственная культура — военная. Может быть так и было бы, если бы в тишине русской жизни не расцвел другой промысел и другая культура — чиновничество. Как крапива и бурьян разрастаются там, где их не сеяли, и глушат благородные овощи, канцелярщина пышно поднялась сплошь во всех складках русского быта и задавила все, решительно все культуры. И овощи, и цветы, и злаки, — и самоуправление, и законодательство, и администрацию, и суд, и наконец военное дело. При самых изнурительных жертвах нации, при драконовских законах, при заколачивании насмерть солдат, — все-таки

в Крымскую войну мы оказались с кремневыми ружьями против штуцеров, в 1877 году — с берданками против магазинок, и в обе войны без определенного плана, без талантливых военачальников, без решимости довести дело до конца. Но никогда еще упадок армии и флота не приводил нас к такому безвыходному позору, как теперь...

Жировое перерождение

Есть ужасная болезнь — жировое перерождение сердца. Волокна сердечной мышцы прослаиваются жиром, становятся дряблыми, теряют способность сокращаться. Нечто подобное произошло с мужественною школою Миниха, Суворова, Румянцева, Паскевича, с военною культурою, зачахнувшей в эпоху Аракчеева. Незаметно произошло бюрократическое перерождение военного ведомства, очиновниченье, канцеляризация нашей обороны. Незаметно боевые генералы начали делаться тайными советниками в душе. Древний критерий — талант и мужество — уступили диплому и осторожности. В иерархии военной начался подбор людей усидчивых, многопишущих, всезнающих, кроме момента, когда нужно действовать. Военный штаб незаметно переродился в канцелярию и, как ослабленное сердце, парализовал армию отсутствием непрерывной энергии, непрерывных толчков. Без центральных возбуждений богатырское тело армии завяло, зажирело и свои физические доблести и моральные сохранило только на бумаге. О, этот мертвый бумажный дух!

Об этом нужно писать целые тома, но достаточно вспомнить последний год. Грянула война — мы удивились, почему не было бумаги о ней из Японии за № таким-то? Нас всего более поразило то, что целые годы тянувшееся «дело» о Маньчжурии и Корее оборвалось без заключительного отношения. «По примеру прежних лет» думали отвертеться отписками и канцелярским измором. Кто служил в канцелярии, знает, какой переполох получается, когда «дело» не закончено, а жизнь уже решила его. В канцелярии всегда оказывается, что еще ничто не готово, весь вопрос еще пребывает в комиссиях, в период справок, собирания материалов, отобрания отзывов и т. п. Так и здесь. Загорелась война — тотчас же увидели, что необходимы пуш-

ки. Корея и Маньчжурия — горные страны, для них нужна особая — горная артиллерия. Где она? Нет ее. Не то забыли заказать, не то отложили кредит, и вот обстоятельство, решившее, может быть, всю войну. Другой канцелярский кунстштюк — Сибирская дорога. Ее строили именно на случай войны, но оказалось, она возит только четыре пары поездов, и собрать достаточную армию пришлось немногим скорее, чем если бы она шла пешком. А между тем к войне этой готовились; основной принцип нынешней обороны — быть готовым всегда и на всех фронтах. Вы спросите, был ли составлен план войны. Невероятно, чтобы не было плана; любой капитан генерального штаба в один месяц может вычислить точно все возможные дебюты войны, раз известно задание: мобилизуемые части, передвижение, базы, операционные линии, кредиты и т. п. Говорят, подробнейший план войны был разработан за год до нее, но он попал под сукно и о нем забыли. Когда вспомнили, оказалось, что в нем предсказывалось с точностью все, что произошло. Стали изумляться, до какой степени у японцев все готово. У них есть прекрасные карты театра войны. У них унтер-офицеры снабжены биноклями и компасами. У них беспроволочный телеграф, у них воздушные шары, у них бризантные бомбы, у них совсем неожиданная артиллерийская тактика, основанная на новейших изобретениях...

Кстати, о воздушных шарах: они побили рекорд военно-канцелярской волокиты. На днях в «Новом Времени» пишут из Мукдена: «3 декабря наши военные воздухоплаватели *впервые* приступили к работам, и 18 декабря военный шар «С.-Петербург № 4» впервые поднялся на воздух». Через одиннадцать месяцев войны! Ведь если бы эти шары были не нужны, их бы нечего было и везти туда, но задолго до войны во всех больших армиях воздушные шары введены как крайне важное разведочное средство. Благодаря ему в недавних войнах уже выигрывались победы и целые кампании. Наше военное ведомство уже затратило на военное воздухоплавание бездну денег. И тем не менее война вспыхнула—и мы не имели в Маньчжурии ни одной воздухоплавательной части. В Порт-Артуре лейтенанту Бахметеву (потом убитому) пришлось выкраивать шар из шелковых юбок знакомых дам, в то время как в наших крепостях в Польше шары бездействовали. В Петербурге совершенно частное лицо Е. И. Тарасов под-

нял шум об этом, надоедал высокопоставленным генералам, редакторам газет, ученым воздухоплавателям, жертвовал деньги и призывал к пожертвованиям и, между прочим, настоял на том, чтобы я написал «кричащую статью» о шарах. Крик этот был не праздный. Я сам видел телеграммы из Ляояна от стоящих в центре генералов, просивших о присылке шаров, о сборе пожертвований на их заведение и проч. Мысль о пожертвованиях мне казалось странной: ведь это то же, что протягивать ручку на отливку пушек. Каждый шар-змеевик с его скарбом стоит что-то около 30 тысяч, а нам каждый час войны стоит 100 тысяч рублей. Ясно, что не в деньгах дело. В конце концов шары были посланы, но какова скорость! С богоспасаемого Волкова поля до поля битвы шары добрались через 11 месяцев войны! Корреспондент прибавляет: все убеждены в том, что «несомненная польза» шаров скажется в ближайшей же битве. Очень приятно. Но, значит, несомненная польза этого аппарата все время была на стороне японцев, как и чрезвычайная польза беспроволочных телеграфов. Владея этими могучими средствами рекогносцировки, японцы превосходно знали наше положение и под Тюренченом, и под Киньчжоу, Вафангоу, Дашичао, Ляояном, Шахэ — вплоть до последней битвы под Сандепу. У пленных японских солдат на днях нашли карты, где движение нашей 2-й армии было прочерчено синим карандашом совершенно точно. А мы ценою тяжких жертв собираем сведения через охотников, по захваченным шапкам, погонам и т. п. Кто знает, как повернулась бы война, если бы занумерованные, как отношения, шары появились в Маньчжурии не в конце кампании, а в начале? Если бы в петербургских канцеляриях по семи-восьми месяцев не решали вопроса, о чем приятнее торговаться — о станции Сименса или Маркони?

Еще маленький пример. Читатели, может быть, не забыли об удивительном аппарате (панорамографе) Тиле, о котором я писал 5 декабря. Это моментальная фотография с воздушного шара, дающая возможность крайне быстро снимать неприятельские позиции. Изобретатель, инженер Тиле, четыре года добивается принятия его аппарата, одобренного десятками авторитетных отзывов. В подлежащих сферах г-ну Тиле ответили решительно: «Теперь нам некогда, — окончится война, подавайте прошение». То, что в мирное

время нет нужды снимать неприятельские позиции, нашим канцеляриям не пришло в голову. На «кричащую заметку», написанную мной по просьбе г-на Тиле, последовало полное молчание канцелярий и... поспешная телеграмма с войны. Просят сообщить адрес изобретателя и готовы вступить с ним в экстренные переговоры. Жизнь не бумага, жизнь не ждет...

Штабная метафизика

Бюрократизация армии сказалась в составе ее вождей.

Талантливейший из наших боевых генералов, храбрец и любимец сибирских войск, генерал Линевич оказался где-то в тылу — он, взявший Пекин и кому боевое счастье еще не изменяло. Он, видите ли, не был в военной академии и получил свое военное образование — как некогда несчастный фельдмаршал Суворов — уже на службе. Зато в авангард армии попал титулованный, но больной и престарелый генерал, которому объезжать позиции пришлось в карете и для питания которого нужно держать корову. Истинным талантам были предпочтены дипломированные посредственности, и в результате явилась новая порода войск — «орловские рысаки», как прозвали дивизию генерала Орлова, побежавшую под Ляояном. Пусть не хватает даровитых генералов, пусть недостает солдат, орудий, военного снабжения, хороших карт и инструментов, фуража, провизии. Но никогда военные штабы не были столь обильны, никогда не истреблялось столь невероятное количество бумаги, никогда канцелярская машина не работала с таким исступлением. В одном письме с войны я читал, что армия могла бы содержать в Маньчжурии бумажную фабрику, если бы нашелся догадливый предприниматель. Не с меньшей энергией работают и здешние центральные канцелярии. Результаты известны. Для отражения безумно-храброй армии, десять лет готовившейся к войне, выставили войска худшие, какие были, и притом чуть не на треть составленные из инородцев. В некоторых полках число офицеров-поляков доходило до 35%, врачей-евреев — до 50%, не говоря о нижних чинах. Эта разноплеменность, разноязычие, разность веры не могли не сказаться на сплоченности войск. Командиры

западных наших частей рады были избавиться от плохих солдат — евреев, армян, молдаван и т. п. и вот в боевую армию было подсыпано изрядное количество мусору. Когда наскоро сформировывали третьи батальоны восточносибирских полков, то из разных полков корпуса были взяты разные роты и к ним назначили офицеров со стороны. А иной раз даже поражение так не расстраивает части, как мирная перетасовка. После нее все оказываются чужими друг другу, офицеры не знают солдат, те — офицеров. Исчезает понимание своих сил, доверие к ним, та родственность, которая дает дружинный дух. В то время как японцы послали лучшие свои полевые части, мы выдвинули резервные дивизии, и армия почти сплошь оказалась из запасных. При этом запас призывался даже 1887—89 г.г. За семнадцать лет мирной жизни, состарившиеся, наплодившие детей, много ли запасные солдаты сохранили в себе военной подготовки? Но если в сибирской мобилизации иначе было нельзя устроиться, то как объяснить посылку резервных дивизий из России за 10 000 верст в то время, как там бездействовали целые корпуса? И здесь на разворачивание резервных полков и батальонов брали офицеров из чужих частей. Сбродные подчиненные получили сбродное начальство, — можно себе представить психологию подобного войска, идущего в бой.

Я коснулся двух-трех черточек военного быта. О многом, вы понимаете, говорить нельзя. В начале войны, когда бесславно гибнул флот, разбросанный, врученный неопытным вождям, составилось определенное убеждение: флот плох. Теперь, через год отступлений, когда даже жестокие удары не научили нас спешить и действовать, чувствуется страшная истина: армия плоха. Это не укор ей, ибо она и мы — одно, — это сострадание и если хотите — страх за ее будущее, за наше общее будущее... Перерождение сердца обыкновенно оканчивается параличом.

ГДЕ СТРОИТЬ ФЛОТ?

Август 1905 г.

На восстановление флота ассигновано более полумиллиарда. Идет четвертый месяц, как кораблестроительная программа выработана, однако до сих пор не решено, где строить и что. Поистине прав Н. Л. Кладо, доказывающий*, что Россия в опасности потерять и новые полмиллиарда, и столь же бесславно, как те, что похоронены вместе с разбитыми и сдавшимися кораблями. Опасность огромная в том, что за хорошие деньги опять мы выстроим скверный флот и колоссальное ассигнование позолотит лишь кое-какие частные бюджеты.

Прежде всего, нужен ли нам флот? Мы все еще колеблемся, все еще не решили этого. Как только нужно предпринять что-нибудь серьезное, снова поднимают этот злосчастный вопрос. Зачем, говорят, России флот? У нас нет того, для чего держатся военные флоты: нет заморских колоний и нет сколько-нибудь значительного торгового мореплавания. России пока нечего защищать на морях, для берегов же, стоящих защиты, достаточно минной обороны и крепостей. До сих пор, за эти двести лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за полторы тысячи верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и южных морях имели вид скорее морской охоты, чем войны. Все наши войны неизменно решались на суше, и до такой степени, что в Крымскую и в восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Послед-

* См.: Полмиллиарда в опасности//Новое Время. № 10530.

няя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. С неуклонной верностью преданиям наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки — 28 июля и 15 мая — вступить в открытый бой — завершились плачевным разгромом. В конце концов, как турецкий флот, наш кончил нравственным разложением — бегством одной эскадры и позорной сдачей другой — вместе с капудан-пашами, которые на них командовали. Спрашивается, зачем держать флот до такой степени бесполезный? И если в течение двух столетий не удалось наладить столь важного государственного дела, то нет ли в самой идее его ошибки? Петр приобрел берега, чтобы иметь флот, а флот строил, чтобы защищать берега. Ни того, ни другого мы толком не добились. Нужно ли вопреки опыту веков продолжать эти попытки дальше? Петр сравнивал флот с левою рукою, но если эта рука была искусственная, то есть ли какая-нибудь надежда, что она станет живою? Великий флот вырастает органически у наций, окруженных морями и государственная территория которых рассеяна по океанам. Мы же страна навеки континентальная, и усилия сделаться морскою ничего, кроме бесчестья, нам не принесли. Не воюем ли мы с самой природой? Не странно ли искать выходов в океан, когда выходить нечему, когда приходится строить флот, чтобы гавани не стояли пустыми? Новые 525 миллионов предположены лишь как начало ассигнований. Отстроенный на эти деньги флот будет гораздо слабее японского на Востоке и германского в Балтике. За полмиллиардом расхода потянутся другие миллиарды, не считая постоянного содержания. Неужели у столь разоренной страны нет более производительных задач? Затратьте полмиллиарда на выкуп земли у дворян или на народное образование — и каждая из этих реформ в одно десятилетие удвоит силы России. Если бы вместо стоившего триста миллионов флота на Дальний Восток мы послали бы вовремя стотысячную армию, войны не было бы. Флот не только не предотвратил войны, но именно он ее и вызвал. Как черноморская эскадра после Синопа, наша дальневосточная эскадра оказалась достаточной для того, чтобы встревожить Японию, и слишком слабой, чтобы отстоять Россию. Не будь фло-

та, нам не нужен был бы футляр его — Порт-Артур. А из-за этого футляра мы пережили позор, в истории нашей небывалый. Не будь флота, мы серьезнее взглянули бы на армию, имели бы средства обстроиться крепостями. Раз мы не имеем колоний, флот обречен стоять у берега или невесть зачем слоняться по заграничным портам. Но стоять у берега умеют и береговые батареи, а для представительства послов достаточно полдюжины яхт. Прежде чем рыть в воду народное золото, следует подумать крепко, нужно ли это. Нужен ли нам флот?

Так говорят противники самой идеи флота. Защитники могут ответить просто: плохой флот нам действительно не нужен. Бесспорно, лучше совсем ничего не строить, чем строить дрянь. Что флот не оказал до сих пор России серьезных услуг — это верно, но именно потому, что это был плохой флот. Имей мы хорошую эскадру при Петре, не понадобилась бы и Полтавская битва. Мы не допустили бы высадки под Нарвой, и вместо двадцатилетней войны с ее неисчислимыми жертвами решили бы дело в два часа. Имей мы хороший флот, не было бы следующей шведской войны, как и двух-трех турецких. И Швеция и Турция окончательно смирились, лишь укрощенные на море. Парусному флоту Нахимова что же оставалось делать, как не потопить себя, но будь у нас такой же величины паровой флот, — не было бы севастопольского десанта, не было бы самой войны. Тоже в кампанию 1877—1878 гг. флот был только потому бесполезен, что его не было вовсе. Имей мы вместо поповок в Черном море хорошую броненосную эскадру, мы могли бы высадить армию у самого Босфора, и Константинополь был бы взят. Правда, и в этом случае, будь у нас эскадра, не было бы, вероятно, и самой войны. Наконец, в последнюю, проклятой памяти, Маньчжурскую кампанию, конечно, лучше бы вовсе не иметь флота, чем иметь плохой. Даже и плохой сослужил некоторую службу, дав время нашей сухопутной армии собраться. Но допустите, что броненосцы наши не уступали бы японским ни в величине, ни в толщине брони, ни в ходе, ни в артиллерии, — допустите, что мы имели бы на месте состав, обученный не только веселой жизни, и адмиралов, приспособленных не только к получению огромных окладов. Картина получилась бы совсем иная. В первом же нападении на Порт-Артур японский флот был

бы разбит, и мы в самом деле могли заключить мир в Токио. Почему нет? А вернее, и на этот раз к общему благополучию самой злополучной войны не было бы.

Как видите, все посылки противников флота совершенно верны, но поставьте вместо «плохой» флот — «хороший» флот, и вывод получается обратный. Между плохим и хорошим во всех вещах непереходимая пропасть. Возьмите свежее мясо и гнилое: многое ли отделяет здоровую пищу от яда. Флот старого стиля, патриархальный, безнадзорный, конечно, России не нужен. Мало сказать, что он бесполезен: как трижды подтверждено за последние полвека, такой флот составляет наше национальное несчастье. Именно флот подвел Россию под предательство, которому нет имени. Именно с флотом уплыла в океан наша государственная репутация и лежит на дне. Отрекаясь, как при крещении, от нечистого призрака, обрекая его на вечное осуждение, мы не имеем права дурное прошлое возводить в закон, обязательный для будущего. Если правда, что хороший флот предупреждает войны, то эта роль государственного громоотвода не такова, чтобы от нее отказаться с легким сердцем. Несомненно, не будь застарелого хищения во флоте, наши ассигновки были бы достаточны, чтобы иметь хороший флот. Но и в будущем полезнее затратить миллиард, чтобы предупредить войну, чем затратить треть миллиарда, и в случае поражения прибавить к ним три. Как мы ни подавлены теперь и ни разгромлены, мы не имеем право терять мужество, мы не смеем оставлять страну беззащитной. Флота нет, но он должен быть создан, ибо, что значит не иметь флота, — мы теперь отлично знаем.

У нас нет колоний, нет коммерческого флота — да, но, может быть, только потому их нет, что нет могущества на морях. Если бы по замыслу Петра Великого мы развили серьезную морскую силу, если бы вместе с западными державами приняли участие в дележе земли, то у нас были бы свои экзотические колонии, а с ними явилось бы что возить, явился бы и коммерческий флот. Петр снаряжал же экспедиции на Мадагаскар и в Тихий океан. К сожалению, он умер слишком рано, чтобы выполнить свои планы. Теперь действительно у нас заморских колоний нет, но наши далекие берега — те же колонии, и давно ли четырьмя морями и двумя океанами было короче доехать к Владивостоку, чем по

суше. Какие ни на есть берега, но мы их имеем, и в каждой точке их возможна высадка. Нельзя превратить всю линию берега в сплошную крепость; дешевле иметь эскадру железных крепостей, способную защитить любую точку. Это до такой степени элементарно, что даже маленькие державы имеют военный флот. Если он хорош, то предупреждает маленькие войны и настолько дешевле их, насколько палка, взятая в дорогу, дешевле отнятого кошелька. Флот в триста миллионов (считая без утечки) сберег бы нам не только половину Сахалина, оцениваемую в десять миллиардов, но и неисчислимые ценности в Маньчжурии и на Квантуне. Флот в полмиллиарда сбережет нам, быть может, Балтийское море и Новороссию, на которые, будьте уверены, найдутся охотники. Армия действительно решает участь войны, но флот делает часто не нужным самое это решение. Как стрела на далеком расстоянии предупреждает меч, — хороший флот предупреждает самую возможность войн в тех случаях, когда вторжение идет с моря.

Государственная язва

Вопрос, нужен ли России флот, заставляет вспомнить слова Попа: «Человек совершеннейшее создание Божие, но лишь порядочный человек». Флот безусловно нужен, но *хороший* флот. Откуда взять его, как добыть?

Есть три способа. Из них самый скверный тот, который практиковался у нас, ибо он увенчан гибелью всего флота и всей войны. Самое печальное и безнадежное, если строить флот начнем мы сами, собственными плохими строителями, на плохо оборудованных верфях, при крайне плохом надзоре, при установившемся почти стихийном отвращении к восьмой заповеди. Невежество и недобросовестность будут соперничать между собою, побивая такой рекорд, как напр. деревянные заклепки вместо стальных. Подобно постройке наших знаменитых храмов, сооружение кораблей затянется на долгие годы. Спускать их будем не раньше, чем они устареют и потребуют переделки, что обставлено будет новыми ассигновками, и т. п. «По примеру прежних лет» все станут сваливать и работу, и ответственность друг на друга, все будут уставать от несносной возни, «махать рукой» на все, заканчивать не начи-

ная или начинать и не оканчивать. Знакомая картина! В результате опять заведем плавучую бутафорию в роде эскадры Рожественского, тот чудный флот, что казался еще до войны разбитым. Хромой, увечный, требующий постоянных новинок и переделок, причем всегда оставалось что-нибудь недоделанным, — флот выходил из постройки и ремонта, как из серьезных аварий. Задолго до встречи с неприятелем он нес последствия тихого поражения на своих верфях и в своих портах...

Не правда ли, такое строительство нам не нужно? Довольно России позора! Если вы подумаете, что я речь веду о корпусе корабельных инженеров, то вы ошибаетесь. Вина плохого строительства лежит не на них. Что такое наши корабельные инженеры — в публике мало знают. Позвольте привести отрывок из очень длинного письма, присланного мне одним выдающимся корабельным инженером:

«Я хочу поговорить о нас, корабельных инженерах, строителях военных судов, о той жалкой роли, какую играем мы в морском министерстве, об угнетенном, тяжелом нашем положении... Это один из корней того великого зла, невольной частью которого являемся мы. Зло это, этот страшный паразит, сосущий драгоценные соки родины, — это наши порты и адмиралтейства. Это гнилые болота, где гибнет все, попавшее в них, где сотни миллионов рублей, с таким трудом добытых народом, бросаются в воду нелепо, бессмысленно... Как не болеть душе человека, чувствующего, что и он тоже часть этого паразита — и увы, не на деле, правда, но по смыслу — главная его часть. Он бы должен был быть головой этого тела, управлять им и заставлять его честно выполнять свой долг перед родиной. А теперь голова эта, бессильная, обездоленная, погрязла где-то в разложившемся теле... Теперь, когда все чаще доносится глухой ропот на наш флот, слышишь тяжелое обвинение: «Вы, строители кораблей, ответьте родине, где миллионы, затраченные на флот? Почему у нас нет флота? Почему у нас не суда, а калеки, смешная пародия на флот — защитник государства? В ваши, строители, руки пошли эти миллионы, и что же вы с ними сделали? Где честь у вас и совесть?» Так думает каждый. А мы, строители, забитые, забытые, униженные, оплеванные, лежим на дне гнилого болота, не смея поднять головы, сказать своего слова».

Это лишь маленький отрывок письма, занимающего целую тетрадь. Не правда ли, вопль чего-то нестерпимого из среды, которую все считают с обеспеченной карьерой? Оказывается, никакой карьеры нет, есть плохое инженерное училище, куда попадают, как в ловушку, чтобы потом, по окончании курса в этом высшем заведении, получать от 68 р. до 100 рублей в течение лет пятнадцати. К этому окладу даются погоны квартального надзирателя или классного фельдшера и требуется десяти- или (при экстре) 12-часовой труд, труд черный, безответный, без всякой инициативы, без возможности не только пополнять знания, но и сохранить в памяти то, что дала школа... Главная инициатива в кораблестроении принадлежит не инженерам, а некоторым штабам, комитетам, комиссиям, советам, где вершат не кораблестроители: последние даже на верхах «знают свой шесток». Но о морских инженерах поговорим как-нибудь особо. Мне хотелось только сказать, что первый способ восстановления флота — строить его, как встарь, дома и домашними людьми, значит просто бросать миллиарды в «гнилое болото».

Второй возможный способ постройки флота — заказать его за границей целиком. Возьмут, правда, дорого, но сделают хорошо. Этот способ неизбежен в военное время, но к нему охотно прибегают у нас и в мирное. Дело в том, что без больших хлопот лица, прикосновенные к заказам, получают от 10 до 15% с суммы заказа. C'est simple, comme bonjour *, и всем известно, но в доказательство позвольте привести отрывок из письма ко мне одного известного адмирала (еще в начале войны):

«...Мы можем строить дома все, и суда, и машины, и орудия, — и деньги останутся, и постройки будут лучше и дешевле. А самое главное, мы избавимся от иностранной зависимости и приобретем *самостоятельность*. Все начинается в России: подводная лодка была предложена Горном — военным инженером. Дыхание в подводной лодке обеспечено Петрушевским — артиллеристом. Им давали на опыты гроши. Применение жидкого топлива было предложено у нас же, и морское министерство отпустило на опыты 350 рублей, потом 500 руб., и когда получились удовлетворительные результаты, в дальнейших средствах отказало.

* Ясно как день, это проще простого *(фр.)*.

Спросите — почему? Да потому, что заграничные заказы дают 10—12% дохода со стоимости заказа, а у себя дома не возьмешь ни гроша. Впрочем, и наши заводчики начинают практиковать этот способ получения заказов, но еще не отчисляют более 3—4% со стоимости заказа. Я прослужил во флоте 36 лет, а теперь 18-й год ревизую морскую отчетность в государственном контроле и знаю, как покрываются многие вопиющие злоупотребления морского министерства».

Итак, если верить весьма сведущему адмиралу, заграничные заказы дают 10—12% «дохода». Заказали, например, броненосец в 15 млн. рублей — и сразу получаете полтора или два миллиона в карман. Недурно? Ну-с, а если целую эскадру заказать — сочтите-ка «доход». В общем, за несколько лет составится та отсутствующая эскадра, которой нам недоставало в начале войны и которая могла бы уравнять наши силы с японскими.

То, что заграничные фирмы дают столь колоссальные пур-буары *, конечно, бросает некоторую тень на них. Но я не думаю, чтобы крупная взятка слишком вредно отражалась на качестве постройки. Взятку, собственно, дает не фирма, а русская казна, на которую фирма наложит ее при расчете. А раз фирма ничего не теряет, ей нет резона делать слишком дурно. Солидные фирмы дорожат своей репутацией; выпустить плохое судно для них так же неприятно, как у нас выпустить хорошее. Крамп, Армстронг, Вулкан имеют всемирную известность — не то что гг. комиссионеры, темные имена которых нельзя скомпрометировать ничем. Но, само собою, миллионные взятки не могут улучшать постройки. Несомненно, фирмы имеют кое-какие льготы в сроке работы в точности чертежу, а может быть, и в материале. Вместо превосходного поставят только хороший сорт, и даже добросовестные приемщики при их невежестве ничего не заметят. Таким образом, суда, строящиеся за границей, все-таки недурны. Они были бы, может быть, совсем порядочными, если бы не беспрерывное вмешательство в постройку из Петербурга, если бы не требование постоянных изменений и переделок. Каждая переделка пахнет сверхсметой, командировочными, комиссионными и тому подобной прелестью. В силу этого измученная фирма спешит на-

* Пур-буары *(фр.)* — чаевые.

конец отделаться от заказа, сдать судно, как его требуют, хотя бы кое-как. Это ущерб, но не единственный и далеко не главный для казны. Посчитайте, сколько Россия теряет оттого, что такое колоссальное производство, как постройка флота, идет за границей, из чужого материала, чужими рабочими и мастерами. Вместо того, чтобы дать хлеб собственным десяткам тысяч населения — мы даем его американцам и немцам. Вместо того, чтобы поддержать свою железную и лесную промышленность, мы даем развитие чужой, нам враждебной. Заказывая за границей, мы обрекаем себя на государственную кабалу у тамошних фирм. Если свои верфи разорены, если нет ни мастеров, ни подготовленных рабочих — и захотели бы строить дома, да нельзя будет. Такое дело налаживается не сразу. Нужна продолжительная школа, нужны предания, нужны сословия техников и рабочих, воспитавшихся на постройках. Вот этот ущерб России — отказ от собственного судостроительства — прямо неисчислим. Представьте — война. Объявлена блокада, и уже сделанный заказ не получите. Целые золотые займы наши, как показала эта война, остаются за границей, орошают собою не нашу промышленность, не наш народный труд.

Динамо-люди

Есть третий способ восстановления флота, но он потому не приемлем, что вполне хорош. Этот способ представляет сочетание условий в высшей степени выгодных, но, увы, только для государства. При этом способе невозможны «процентики», а стало быть, он никуда не годится, и до такой степени, что нет надежды, чтобы он был принят. Способ этот—*пригласить иностранных техников и поручить им постройку флота у нас, на наших верфях.*

Казалось бы, чего проще: брать лучшее там, где оно лежит. За границей превосходные строители, честные, знающие, энергические, у нас невежественные и корыстные. Казалось бы, можно ли колебаться в выборе? Ведь сколько бы ни запросили заграничные техники, они обойдутся неизмеримо дешевле, чем будущий погром флота и потеря новых 33 тысяч квадратных верст. Что касается материала и рабочих, то железо и лес у нас лучшие в мире, а рабочие руки — самые де-

шевые, какие существуют. Правда, они плохи, но лишь в плохих руках. Те же рабочие, если к ним относиться по-человечески, не наваливать на двухсот человек работу, записанную на трехсот, если действительно учить их и следить за ними, те же рабочие делаются выше всякой похвалы.

Месяц назад в статье «Заказ людей» я настаивал, что вся беда наша в людях, что кроме всесветного скандала ровно ничего не выйдет, если великие реформы останутся в слабых руках. В частности я доказывал, что полмиллиарда, отпущенные на флот, требуют непременно *новых* людей, иначе со старыми мы неизбежно заведем прежний флот, никуда не годный, и это с непреодолимостью законов природы. Я утверждал, что если нам нужен флот, то только превосходный, а построить его могут только западные мастера. Пригласимте западных мастеров и пошлем своих учиться на Запад. Прежде чем заказывать флот, закажемте людей, которые могли бы построить флот и управлять им.

Предлагая все это, я отлично знал, что вооружаю против себя могущественные аппетиты: 525 миллионов, ассигнованные на флот, не шутка! Если применить норму «дохода», сообщенную мне сведущим адмиралом, то это составит от 52 до 63 миллиончиков. Странно было бы, если бы прикосновенные сферы не постояли за себя. У нас есть жалкая печать, которая к услугам всего, что во вред России. В этой печати мою мысль о заказе людей пытались высмеять: утверждали, что я поехал за границу, что я ищу министров в Шотландии и т. п.

Искать людей вовсе не мое дело, но что их найти нетрудно, я убедился на днях. Меня познакомили здесь же, в Петербурге, с одним из тех людей, о которых я мечтал и которые нам дозарезу нужны. Это — директор Крампа, Льюис Никсон, тот самый судостроитель, из рук которого вышли наши «Ретвизан» и «Варяг», а также лучшие суда американского флота. Зачем г. Никсон в Петербурге — я не знаю; вероятно, не без дела. Из беседы с ним и маленькой биографии, которую я разыскал в энциклопедии американских деятелей («Who's who in America» *, 1904—1905), я убедился, что это один из тех западных людей, которые у нас так

---

* «Кто есть кто в Америке» *(англ.)*.

невероятны. В возрасте, когда у нас кажутся стариками, этот человек полон прямо юношеской свежести. Ни одного седого волоса, лицо брызжет здоровьем. А он окончил две морские академии — у себя в Америке и в Англии, он дал проекты «Орегона», «Индианы», «Массачузетса», украшающих военный флот Соединенных Штатов. Он успел побывать главным судостроителем всемирно известного Крампа в Филадельфии, чтобы в возрасте 34 лет стать хозяином собственной огромной верфи Кресчент. Тут за шесть лет он построил сто судов, между ними несколько военных (знаменитый «Holland»). Одновременно он работает как президент, попечитель, командор, директор длинного ряда учреждений, трестов, компаний, обществ и клубов, связанных с кораблестроением и стальной промышленностью. Одновременно он вождь (сменивший Крукера) в Тамани-Холле и вице-президент демократической партии. Прямо в глазах рябит, когда читаешь этот формуляр 45-летнего человека, запутанного в лабиринте стальных, медных, железных колоссальных предприятий — не как передаточный рычаг, а как главный двигатель. Прямо какая-то новая раса появилась в Америке, какие-то динамо-люди. Их энергия неистощима. Путем индукции она подымает себя своею же работой, она питается каким-то вихрем сил, непрерывно создавая их.

Зачем, однако, появился в России мистер Никсон? Вопрос нескромный. Странно спрашивать западного человека, зачем он на Востоке. To make money *, очень просто. Архимиллионер в Америке так же страстно гоняется за не нужным ему новым миллионом, как какой-нибудь герцог в Европе — за зайцем. Это грандиозный спорт, не более. Потомство норманов, англичане и американцы, — те же «пенители морей», что и тысячу лет назад. Если не мечом, то золотом и неукротимой энергией они завоевывают себе все новые царства. Как древние варяги налаживали государственность — не для себя, ибо они быстро ассимилировались во всех странах, — нынешние англосаксы налаживают новую промышленность в глуши материков. Приедет человек с миллионами, и если не погубит их, то поставит большое и вечное дело. Оно, правда, вернет ему вдвое миллионов, но оставит стране вдесятеро, вместе с про-

---

* **Делайте деньги** *(англ.)*.

мыслом, ставшим прочно. Хорошо-с, но зачем все-таки мистер Никсон явился в Петербург? Оказывается, что он явился сначала в Севастополь, переплыв вместе с женой Черное море на водяном автомобиле собственного изобретения. Он явился по приглашению русского правительства, чтобы паладить постройку нового миноносного флота (сторожевые катера), и выполнил эту задачу блестящим образом. Правда, наши отсталые, невежественные моряки, как слышно, жалуются, что ничего не понимают, что им трудно справиться с новой затеей, но что же делать. Надо поучиться, надо потрудиться немного.

Нет никакого сомнения, что слух о 525 миллионах обошел уже оба полушария и что правительство наше завалено предложениями. Между последними есть, вероятно, «просто приятные» для наших сфер и «приятные во всех отношениях». Что касается России, которую тоже нужно пожалеть, — она перед опасностью, которой нет и меры: потерять не только деньги, но и *время*. Если действительно жаль России, то почему не обратиться к лучшему способу, почему не пригласить иностранных техников и не поручить им наше кораблестроение здесь, в России? Почему не соединить западную честность, знание и энергию с русскою рабочею силою и с русскою промышленностью, хиреющею от безделья? Почему отказаться от мечты всякого великого государства иметь все необходимое у себя, чтобы хоть в будущем не кланяться иностранцам? Почему не создать серьезной кораблестроительной школы, серьезно оборудованных верфей, заводов, доков и т. п.?

Раз правительство уже приглашало г. Никсона и он оправдал доверие, то почему бы не пригласить его и для более широкой деятельности? Я не имею никакого основания отстаивать непременно г. Никсона. Кроме блестящей биографии и хорошего впечатления при беглом знакомстве, я о нем не знаю ровно ничего. Знаю со слов других, что он такой же артист кораблестроения, как Мазини — певец. Но, может быть, есть и другие, ему подобные. Дело не в имени. Нужна *крупная гастроль,* иначе вся наша морская сцена рухнет. Пригласите действительный талант, действительное знание. Вручите настоящему кораблестроителю наши верфи, наших рабочих, наши материалы. Обставьте себя всевозможными гарантиями, но дайте мастеру свободу наладить разрушенное мастерство. Вот моя мысль.

1908 год

ПАМЯТИ СВЯТОГО ПАСТЫРЯ

23 декабря 1908 г.

Сегодня Петербург хоронит о. Иоанна Кронштадтского. В день смерти, как мне передавали, были такие сцены. Священник вышел после всенощной к народу и сказал: «теперь отслужим панихиду по молитвеннике земли русской, по отце Иоанне Кронштадтском!» Как сказал он это, народ на минуту замер. Точно ветер — шелохнулся тихий ужас и раздались рыдания. Бабы заревели, заплакали дамы в шляпках... Не стало «батюшки отца Иоанна»!

Умер человек воистину исключительный, можно сказать — единственный по близости к народному сердцу. Какие бы великие наши люди ни умирали — Достоевский, Тургенев, Чайковский, Менделеев — их смерть производит впечатление лишь в небольшом культурном слое, совершенно не проникая в глубины народные. Гораздо обширнее чувствуется смерть замечательных полководцев, Суворова или Скобелева, носителей народного героизма, но и их имена почти чужды женской половине населения. Только «святой» объемлет все воображение народное, всю любовь — и особенно восторженную любовь наиболее любящей половины нации — женщин. За эти тридцать лет ни один человек в России не сосредоточивал на себе такого всеобщего поклонения, как «кронштадтский батюшка». Сколь ни громадна слава гр. Л. Н. Толстого, он подавляющему большинству простонародья неизвестен вовсе. С именем его не соединено таинственных, заветных чувств, что связывают с «отцом Иваном» всякую деревенскую бабу, всякого пастуха, всякого каторжника в рудниках Сибири. Да, даже каторжники — кроме немногих, изгладивших имя Божие из своей души, — знают об отце Иване, и представление о нем в них светит, как свеча перед божницей совести. Заслуженно или нет, о. Иоанн занимал более, чем кто-

нибудь, психологический центр русской народной жизни. Он умер в преклонных летах. Преимущество великих людей — не умирать душою. Разве это не чудо — последнее чудо святого священника, что хотя он умер, но именно теперь и ожил пред всеми, утвердился навсегда, и один уже образ его, непрерывно возобновляемый, начинает нескончаемую работу? Разве св. Николай Чудотворец умер? Разве он не продолжает влиять существеннее, чем при своей жизни, на поступки, т. е. на судьбу целых сотен миллионов народа?

Я помню отца Иоанна еще 35 лет назад, до возникновения его шумной славы, как чудотворца. Меня поразила прежде всего манера его службы, единственная, какую я слыхивал когда-нибудь. Все священники и дьяконы на эктениях возглашают нараспев, с установившеюся веками благолепной певучестью. Отец Иоанн возглашал просто, точно разговаривал с Кем-то громко, то понижая, то повелительно возвышая голос в самых неожиданных местах. Вначале это мне казалось признаком эпилепсии. Потом я понял, что это от искренности, от самозабвения во время молитвы. Впоследствии я не раз встречался с о. Иоанном. Вторая его памятная черта — светлый взгляд и всегда как бы освещенное изнутри лицо. Глаза его — светло-голубые — были женские по яркой нежности; голос был простой, как у северян, несколько резкий, без всякой елейности. На моих глазах о. Иоанн выступил как угодник Божий. Одно из чудес (если их можно назвать чудесами) я видел — как, подобно Христу, простым наложением рук о. Иоанн остановил нервный припадок. Я наблюдал общую исповедь «батюшки», необыкновенно трогательную. Ее сто раз описывали. Видел, как, благословляя тысячи народа и давая целовать крест, о. Иоанн молился вполголоса в сдержанном, высоком пафосе. Слышал проповеди отца Иоанна, не производившие, впрочем, на меня впечатления. К несчастью, он когда-то окончил духовную академию и она наложила, сколько могла, свое мертвящее влияние даже на этот огромный дух. О. Иоанн проповедовал не столько словом, сколько «подвигом добрым», примером жизни. Девизом его было: «Священницы Твоя облекутся правдой». Я кое-что читал из ученых сочинений о. Иоанна, напр., замечательное исследование о кресте, просматривал его знаменитый дневник— «Моя Жизнь во Христе» — и находил там, как у Фо-

мы Кемпийского, — не только страстную, неугасимую веру в Бога, но иногда удивительную силу мысли, поэтическую, как в псалмах Давида. Живя в Кронштадте, я мог наблюдать отца Иоанна ближе, чем приезжие. Этот праведник был тем примечателен, что никак не слагался в театральный облик «святого», не впадал ни в аскетизм, доходящий у нас (в лице юродивых) до цинизма, ни в святошество, ни в ханжество. Я знал, что о. Иоанн — подвижник, что он почти не спит и молится, встает рано — и у себя в садике при бедной квартире, гуляючи, все молится. Скромность его доходила до того, что например, он не позволял в бане мыть себя и сам скорехонько мылся, когда никого не было, и уходил. И это в то время, когда в ванну, из которой он вышел, считал за великое счастье сесть один бывший губернский предводитель дворянства. Я сам видел, как к недопитому «батюшкой» стакану чаю устремлялись женщины и, крестясь, благоговейно допивали. И уже зная, как он прославился на земле, он не то чтобы сохранял смирение, но действительно был скромен до наивности. Помню, сидя за завтраком после поездки в Берлин, куда его приглашали помолиться за хворавшего нашего посла, о. Иоанн совершенно по-детски описывал, с каким почетом его встречали. Видимо, вместе с народом он сохранял уважение к чину власти, к боярам и вельможам, хотя маловерные из знати терпели гнев его — прямо пророческий. Известно, с каким ожесточением о. Иоанн осуждал гр. Л. Н. Толстого. С одним из учеников Толстого, князем Х., он не хотел даже говорить, почувствовав сразу его безверие. Мне пришлось два раза обратиться к о. Иоанну от имени погибавших приятелей. Один был революционер, присужденный к смерти и сосланный на каторгу, — ему нужно было освятить крест, посылаемый родителями. Другой был умиравший в чахотке поэт Надсон. Близкая ему М. В. В. просила меня устроить, чтобы о. Иоанн помолился о нем. В обоих случаях — особенно в первом — о. Иоанн был ласков и прозорлив в своем участливом молчании. Он точно видел и слышал что-то тайное — не факт, а суть факта. Последний раз я встретил о. Иоанна при посещении им чайной общества трезвости, где я когда-то работал с сенатором Барыковым. Всегда он был крайне прост и лишен всего показного. Хулители о. Иоанна утверждали, будто его деятельность была

направлена на добывание денег, что все его молебны и благословения будто бы оплачивались. Грубая клевета! Сколько мне известно, он никогда ничего не просил. Что предлагали, брал, но для передачи нищим. Весьма возможно, что его обманывали и около него наживались. Ведь через его руки проходило более миллиона в год. Сам он ходил в последние десятилетия в роскошных подаренных ему шубах и рясах, снимался в орденах и митре, но, я думаю, он делал это не для своего удовольствия, а чтобы не обидеть тех, кому это было приятно. Роскошь одежды иным резала глаза: какой же это святой — не в рубище? Но, может быть, тут было больше смирения, чем спеси. Помните слова Сократа цинику Антисфену: «Твоя гордость смотрит из дыр плаща». Подобно Христу, о. Иоанн ел и пил с грешниками, может быть, с блудницами, ел иногда тонкие блюда. Он, сын дьячка, выросший в крайней бедности, пил тонкие вина, но на моих, например, глазах он едва притрагивался ко всему этому. Веточка винограда, глоток вина — не более. Дома же ему почти не приходилось бывать, и в мое время обстановка его квартиры была очень скромная. Наконец, разве в этих пустяках *человек*? В одежде, в пище, в мебели? «Дух Господен на мне!», — вот что вместе с Исаией чувствовал с неизреченным счастьем покойный старец. В него веровали как в чудотворца — это не диво. Еще чудеснее, что он сам глубоко веровал в себя как в чудотворца. Вообразите же безмерную радость знать, что ты избранник Божий, что Господь действительно тебя слушает и на мольбу сердца твоего снисходит?

В дневнике о. Иоанна записаны случаи чудес, им совершенных. Записи эти иногда отличаются детским чистосердием. «Я молился о нем (некоем Василии), пишет он, Господу, чтобы Он исцелил его, Господи!— говорил я: — Исцели раба Твоего от болезни его. Достоин есть, ему же даси сия, любит бо священников Твоих и дары свои присылает им. Молился и в церкви у престола Господня за литургией, во время молитвы: «Иже общие сии и согласные даровавый нам молитвы»... и пред самыми Тайнами. Я молился, между прочим, так: «Господи! Животе Наш! Как мне помыслить легко об исцелении, так Тебе исцелить легко всякую болезнь; как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так Тебе легко воскресить всякого мерт-

веца. Исцели убо раба Твоего Василия от лютой его болезни и не допусти его умереть, да не предадутся рыданию жена и дети его, — и благопослушливый Владыка помиловал. А то был на волоске от смерти. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему Господи!»

Вот как бесхитростно молился праведный батюшка. Восхитительна эта наивность веры и интимность отношений к Богу. Вы чувствуете, что престол в алтаре для о. Иоанна был действительно Престол Господен, и Св. Тайны действительно тайны — во всем грозном величии влагаемого в них верой чуда. Подумайте о претворении вина и хлеба в кровь и плоть Божию! Подумайте о перерождении природы человеческой в божественную! Греческие мудрецы, зачинатели нашего культа, может быть, довольствовались символами, но вот чистое дитя Севера, как и весь наш северный народ: им мало символа, они верят в Бога реально, как в свою жизнь. Предстатель за народ свой пред Богом совершенно как добросовестный слуга, упрашивающий хозяина, действует доводами чисто практическими и наконец убеждает «благопослушливого» Создателя. Это, пожалуй, и есть настоящая вера, и иной, вероятно, быть не может.

«Горе вам, сказал Христос, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их» (Лук. VI, 26). Только фарисеи и лицемеры ухитряются не иметь врагов и быть всеми уважаемыми. Христос и апостолы имели много врагов и погибли от их лютой злобы. Не мог не иметь врагов и праведник Кронштадтский. Насмешливым презрением он пользовался со стороны нигилистов и интеллигентных безбожников, которых сам он насмешливо презирал. С оскорбленной завистью относилась к нему значительная часть духовенства, главным образом — высшего. Митроносцы с сверкающими бриллиантами на клобуках, украшенные омофорами и панагиями, не могли не чувствовать, что при всем своем академическом либерализме, при всей тюбингенской светскости взглядов, при всем искусстве царедворства, — они бесконечно ниже кронштадтского священника, ниже в глазах Божиих и в глазах народных. Без долгих споров в народе установилось, что он—*настоящий*, а они как будто *не настоящие*. При современном искусстве подделки алмазы Тэта изумительны: их трудно отли-

чить от природных, но цена им все-таки полтора рубля. Этого никак не могли простить великому священнику земли русской, и его затирали долго, сколько могли. Лишь незадолго до смерти, когда он стал совсем немощен, он удостоился назначения в Синод — он, которого часть восторженных поклонников провозгласила живым Христом, сошедшим с Неба!

Отец Иоанн сурово порицал поклонение иоаннитов, предавал их анафеме, но, конечно, для него была еще больнее затаенная ненависть к нему и антииоаннитов. Как я писал три года назад, более решительное, чем у нас, правительство воспользовалось бы драгоценным случаем, чтобы в лице отца Иоанна — признанного заживо святым — начать новую линию патриархов всероссийских, — но разве чиновники Святейшего Синода заботятся о величии русской церкви? Третьим, самым грязным и низким врагом великого священника явилась еврейская пресса. В течение трех лет она, пользуясь оплошностью гг. министров-октябристов, ежедневно глумилась над благочестивым старцем, издевалась над его чудесами, над его милостыней, над благоговением его поклонников. Сочинялись клеветнические легенды, сквернилась женская к нему преданность, оплевывался народный порыв. Как известно, о. Иоанн мужественно выступил против нашей революции и в церковных проповедях напоминал власти ее долг подавлять смуту. Не только народу, но и начальству о. Иоанн предложил к исполнению знаменитую 13-ю главу послания к Римлянам. «Начальник не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Начальство русское с изумлением узнало, что употреблять меч обязывает сам апостол. Жиды не простили этого отцу Иоанну. Взяв под свое покровительство Льва Толстого, отрицающего церковь и государство, жиды обрушились целым извержением грязи на о. Иоанна, ставшего на защиту церкви и на защиту государства.

Оба великих сверстника, кронштадтский и яснополянский старцы, полярно противоположные по духу, составляют гордость России, ибо оба выражают с исключительной силой наш национальный гений. Толстой воплотил в себе могущество оторвавшейся от народа аристократии: знатный, богатый, художественно одаренный, Толстой вместил в себя все утверждения и все отрицания мира. Выросший под громадным вли-

янием Руссо и Шопенгауэра, Толстой доразвился в наитиях Будды и Лаоцзы. Не то отец Иоанн: подобно Ломоносову, он вышел из народа, из глухих северных преданий, из той благочестивой старины, которая осталась в полузабытом прозвище «святая Русь». Невдалеке от освещающих север, точно полярное сияние, гробниц угодников соловецких отец Иоанн воспринял свое озарение веры, свою глубокую приверженность к непостижимому Богу, свою страсть к Христу и к общению с ним через трогательные обряды, древние, как сам народ, священные, как родное прошлое. Бурно мятущийся и гневный Толстой — самое великое, что создала интеллигенция наша. Неподвижный и пламенный в своей вере отец Иоанн — самое великое, что создал простой народ за последние 80 лет. Отец Иоанн— носитель народной культуры, от Антония и Феодосия Печерских, от Сергия Радонежского до Тихона Задонского и Серафима Саровского. Плоть от благороднейшей плоти народной, кость от костей его, кронштадтский старец не мечтал только о святой Руси, как Толстой, а сам был святою Русью, сам нес ее в своем сердце! Вот чем он был дорог народу. Вот почему народ сразу признал его своим, как все сразу видят светильник наверху горы.

Не только православие русское, мне кажется, в лице святого священника все христианство утратило величайшего своего представителя. В самом деле, поищите в теперешнем нашем христианстве такое же горение веры и ту же для народа ощутимую благодать Духа Святого с прерогативами апостолов — исцелять тела и изгонять бесов! Поищите этих евангельских даров Христа у восточных патриархов, у западных генерал-суперинтендантов, у кардиналов и у самого папы! Именно в России родился и умер последний христианин, какого знает мир. Да будет мир его святой душе! Пусть, поминая народного *отца,* своего батюшку Иоанна, все сильное и пророческое, что осталось еще в России, скажет словами Елисея к отходящему Илии: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» (IV кн. Царств, II, 9).

ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА ИОАННА

25 декабря 1908 г.

Не успело еще остыть тощее тело старца-праведника, как еврейские газеты отрядили своих сыщиков, чтобы проникнуть в квартиру покойного, все вынюхать и выследить при посредстве дворника, прислуги и кого попало, относительно будто бы самого важного, что связано с именем почившего: денег. Прах великого священника земли русской еще лежал на столе, как жидовские газеты с возмутительным цинизмом описали содержимое письменного стола отца Иоанна, разных ящиков, пустых пакетов, баулов, карманов брюк и жилета, указали, где, какие будто бы найдены пачки денег и драгоценностей, проследили бегство из квартиры о. Иоанна какой-то будто бы сомнительной женщины с награбленным имуществом и пр. и пр. С величайшим бесстыдством над бездыханным трупом, священным для России, пытались устроить оглушительный скандал, т. е. во что бы то ни стало уронить покойника в глазах народных, утопить его в грязи. Какая низость, какая подлость!..

Еврейские газеты галдят относительно нотариального завещания о. Иоанна. Казалось бы, кому до этого дело, кроме наследников покойного, если допустить, что после него осталось какое-нибудь имущество. Русскому обществу и народу важно вовсе не денежное, а нравственное завещание, что оставил великий старец. Он в образе всей своей долгой жизни и деятельности показал и возвеличил два начала, которые оставил в наследие родной земле. *Благочестие и труд* — вот два завета, что завещал почивший. Сегодня, в день Рождества Христова, оставив на время политические вопросы, остановимся хоть вскользь на этих высоких основах жизни. Разберем, что же такое благочестие в наш век свободы? Что такое труд—в век демократического равноправия?

Неужели это ошибка самых вдумчивых и бескорыстных душ в течение тысячи лет — заботы о благочестивых нравах народа, о святости его быта? Неужели ошибка эти бесконечные поучения сдержанности, терпения, снисходительности к ближним, призывы к симпатии и солидарности, похвалы любви и мира, требования чистоты телесной и душевной? Совместимо ли это нравственное обуздание свободной воли с самой идеей свободы, что кладется в основу нового общества?

Я думаю, благочестие, проповедуемое церковью, не только совместимо с гражданской свободой, но составляет необходимое условие последней. Только благочестие обеспечивает свободу, и ничто больше! Только нравственный закон, обуздывающий людей *до начала* всякого деяния, в самом источнике их — воле — может примирить отдельные свободы, согласить их и уравновесить. Откиньте благочестие, выбросьте нравственный регулятор — и произойдет то, что с молекулами динамита. Все они — под влиянием ничтожного толчка — сразу освобождаются и все их общество исчезает в крушении взрыва. Даже некоторый упадок религиозной дисциплины отражается быстрым подъемом преступности. Развязанные от нравственных обязательств люди становятся способными на невероятные мерзости — примеры, к глубокому несчастью, слишком бесчисленны, чтобы приводить их.

Мы напрасно думаем, что свобода — идея современного общества, открытие французских энциклопедистов. Едва ли было время, когда свобода не считалась потребностью жизни, — только способы осуществления ее были разные. Христианство и государственность, принесенные в Россию извне, с Юга и с Севера, застали истребительную анархию, т. е. крайний предел свободы. Общество — как ныне в Албании или в глуши кавказской — было в условиях постоянного взрыва. Bellum omnium contra omnes *, кровавая месть, захватное право, систематический разбой. И государственность, и христианство начали обуздывать дикую свободу и преобразовывать ее в культурные, правовые нормы. Одной государственности оказалось недостаточно, так как внешнее насилие ставит пределы, но не останавливает стремления дикой воли. Необходима

* Война всех против всех *(лат.)*.

была строгая религия, власть над совестью и рассудком, чтобы заставить каждого гражданина быть собственным судьей и стражем закона. Благочестие помимо его вечных целей — совершенствования духа — служит временной и личной задаче: сделать человека способным к свободе. Следует признать, что в так называемые темные века, в века будто бы рабства, свобода была благодаря благочестию более обеспечена, чем теперь. Так называемые «рабы» не делали стольких насилий над господами, не грабили их, не убивали, и так называемые рабовладельцы не обирали рабов до нитки, как делают это нынешние ростовщики и хищные капиталисты, не предоставляли рабам умирать голодной смертью. Будучи в состоянии произвести наибольшую сумму зла, оба класса ограничивались наименьшей суммой, так как оба были связаны кроме общего интереса — еще нравственными обязательствами. Церковь из века в век, поражая воображение народа счастьем праведных и муками злых, умела внушать всем классам чувство долга, и это чувство закреплялось сложною системой религиозных догматов, обычаев и обрядов. «Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне», — говорил Кант, устанавливая опоры духовного бытия. Пока человек рождается в благочестивой семье, пока высоким культом, прекрасным, как древность, душа воспитывается в строгом самонадзоре, гражданские свободы не представляют опасности. В каждом благочестивом гражданине они встречают моральные ограничения, направляющие волю на доброе, а не на дурное. Те же гражданские свободы в развратном обществе служат пищею раздора и взаимоистребления. Принято думать, будто общества падают от тирании и возрождаются от свободы. Но история учит, что судьбу гражданственности решает третье сопутствующее условие — нравственное состояние. И тирания, и свобода одинаково возвышают общество при благочестии его, и одинаково роняют — при нечестии. Благочестивый в начале республики Рим, как благочестивый при тирании ислам, возвышались и покоряли народы. Наоборот, разврат цезаризма, как разврат афинской демократии, погубили древний мир.

Старинные слова — благочестие и нечестие значат почти то же самое, что современные честность и бесчестность. Великий священник, которого мы только

что похоронили, проповедовал под видом православия честность как основное условие свободы. Во имя Бога Всемогущего, во имя благородного счастья человеческого он заклинал русских людей заботиться о своей душе, воспитывать ее в законе совести, в скромности, простоте, добросердечии, отзывчивости на горе ближних, в нерушимой верности тому, что составляет честь и честность. Недостаток порядочности клонил русское общество к гибели еще до войны и бунта. Недостаток порядочности не дает нам подняться.

Второй пункт великого завещания отца Иоанна — завет труда. Он сам трудился всю свою жизнь, до предсмертных мук. Неутомимость его в преклонные лета казалась чудесной. Изо дня в день, из года в год, в течение четверти века ездить по бесчисленным больным, быть окруженным шумной толпой, выслушивать, утешать, служить обедни и молебны, отправлять исповеди, проповедовать, переписываться, писать сочинения, преподавать, строить дома трудолюбия, строить церкви и монастыри, путешествовать по России, главное — непрестанно молиться... На все это требовалась изумительная энергия, потому что работа мысли и работа сердца у о. Иоанна никогда не были притворными. Если он служил, то воистину служил, если молился, то с глубоким чувством, утешал — с действительным состраданием, исповедовал — со всем проникновением, на какое был способен. Он давал полною мерою от избытка сердца, и избыток этот казался неистощим. Чем объяснить неустанность этой точно сверхчеловеческой силы? Я думаю, только тем, что в ней все было искренно, все — свободно, все — от души. Вот секрет всякого великого труда. Испробуйте его, — весьма вероятно, что слабая вначале энергия окажется могущественной, как вы не ожидали.

После благочестия народу русскому недостает трудолюбия, вернее — той организованности труда, которая воспитывает способность к нему. Пустые головы кричат о борьбе с властью, которая будто бы мешает жить. Правительство у нас, бесспорно, плохо, но не тем, что мешает жить хорошо, а разве тем, что недостаточно мешает жить дурно. Мне ни разу не случалось видеть, чтобы власть препятствовала кому-нибудь быть честным; и я множество раз видел полное равнодушие к бесчестности. Правительство, если не навязывать ему чужих грехов, — не мешает крестьянину па-

хать втрое лучше, чем он пашет, работнику заниматься втрое добросовестнее своей работой, чиновнику — втрое усерднее и т. д. У правительства только недостает таланта добиться этой тройной нормы, а если можно — пятерной. От печального упадка государственности происходит то, что власть ослабела во всех отношениях — и в законодательном, и в исполнительном, и в судебном. Что не менее важно, она ослабела в организаторстве труда народного, в постоянном возбуждении к нему. Правительство в лице чиновников как будто утратило способность подавать народу импульсы. Вместо того чтобы быть центральной вихревой системой, которая захватывала бы все более обширные слои и увлекала бы народную энергию в ураган труда, — наша бюрократия представляет еле движущуюся, бестолково останавливающуюся систему, потуги которой только хаотизируют народ. Представьте себе на минуту, что в состав правительства вошли люди такой кипучей энергии, как отец Иоанн. Он один — в течение десятков лет — составлял целое министерство благотворительности! Представьте, что министры и их помощники, вместо бумажного производства, ежедневно, подобно о. Иоанну, погружались бы в самую толщу своих ведомств и распоряжались бы самолично, налагая на паралúчных чиновников руки и изгоняя, если нужно, из них бесов. Какая бы прежде всего чистка пошла в пределах власти! Как освежился бы, окреп, облагородился тот орган, от которого народ ожидает команды. Деятельное не на бумаге правительство сумело бы втянуть гигантские силы народные в бесчисленные турбины, и вся земля загудела бы богатырским трудом. А труд дает богатство, освобождающее от рабства. «Деньги — чеканная свобода», говорил Достоевский, давший другую достопамятную формулу: «Бедность не порок, но нищета — порок». Отец Иоанн Кронштадтский видел, как никто в России, непрерывный рост нищеты народной, и, как никто, боролся с нею. Вся жизнь его пожертвована нищете, весь неизмеримый труд отдан ей. Любимая его мечта была не дать милостыню, но дать возможность нищему заработать ее. Отсюда знаменитый дом трудолюбия в Кронштадте, от которого пошли по России все дома этого имени. Но очевидно, дома трудолюбия — полумера, слабое зачатие другой, несравненно более обширной организации труда, обязанность которой остается на

правительстве. Не впадая в социализм, власть не может захватить частное хозяйство в свои руки, но она должна способствовать возникновению частных хозяйств, выделению сильных мужественных характеров, которые сорганизовали бы вокруг себя туманную материю народной праздности. Чтобы наладить труд народный, нужна армия трезвых и деятельных людей, которые сами захотели бы это сделать на свой риск и страх. Такие люди есть; не надо мешать им, нужно умело поддержать их.

Благочестие и труд — вот единственно, что завещал великий священник России. Не многие догадываются, что оба эти понятия не чужды друг другу: благочестие — всегда деятельно, труд — почти всегда благочестив. «В труде есть вечное благородство и даже нечто священное», — говорил Карлейль (в прекрасной книге *, недавно переведенной на русский язык). «Только в единой праздности вечное отчаяние. Труд, сколько бы в нем ни было мамонизма, сколь бы он ни был низок, *всегда* в общении с природой. Истинное желание исполнить труд само по себе уже приводит всякого более и более к истине, к предписаниям и указаниям природы, которые суть истины». Великий английский мыслитель предостерегал от метафизики, от бесплодных попыток познать самого себя: «Считай, что это вовсе не твое дело, это познание самого себя: ты — непознаваемое существо. Познай то, над чем ты можешь трудиться, и трудись над этим как Геркулес. Лучшего плана ты не можешь предпринять». Беру нарочно философа самой трудолюбивой и одновременно самой свободной страны на свете (одновременно может быть самой благочестивой). Из многовекового опыта своей наиболее организованной энергии англичане вынесли, вероятно, наиболее серьезные взгляды на труд. Голос англичанина, подтверждающий завет нашего священника, заслуживает, чтобы быть выслушанным. «Человек, трудясь, совершенствует самого себя. Болотистые заросли расчищаются; на их месте возникают прекрасные нивы и величественные города, а вместе с тем сам человек впервые перестает быть зарослью и болотистою нездоровой пустыней. Взгляните, как даже при самых низших видах работы вся ду-

* Томас Карлейль. Теперь и прежде (Past and Present)/ Пер. Н. Горбова. М., 1906.

ша человека успокаивается в некоторого рода действительной гармонии с той минуты, как он берется за труд. Сомнения, страсти, печаль, раскаяние, негодование, само отчаяние — все это подобно адским псам осаждает душу несчастного поденщика так же, как и душу всякого человека, но он склоняется с свободным достоинством над своей работой — и все это смолкло, все это с ворчанием скрывается далеко в свои логовища. Человек теперь действительно человек. Благословенный пыл работы в нем — очистительный огонь, в котором сгорает всякий яд и где из самого едкого дыма развивается сияющее благословенное пламя»... Карлейль, собственное трудолюбие которого поражало даже англичан, был уверен, что народ не имеет других способов воспитывать себя, как через труд. С уст гениального мыслителя, пророчески-религиозного, срываются восторженные похвалы труду: «Благословен тот, кто нашел свою работу; пусть он не ищет иного благословения!.. Работа есть жизнь. Из глубины сердца работника возникает его данная Богом сила, священная, небесная сущность жизни... У тебя нет другого познания, кроме того, что ты получил в труде... Труд по самой природе своей религиозен; труд по самой природе своей *мужествен*, ибо быть мужественным — цель всякой религии. Всякий труд человека есть как бы труд пловца: обширный океан грозит поглотить его и сдержит свое слово, если человек не вступит с ним мужественно в борьбу, но благодаря постоянному мудрому недоверию к нему, благодаря сильному отпору и борьбе с ним — смотрите, как честно поддерживает он его и несет как своего победителя»...

С меньшим великолепием языка, но те же мысли проповедовал о труде и великий старец Кронштадтский: «Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно тогда, когда не хочется!.. Данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная душа!.. Царство небесное силою берется» и пр. и пр. В нашей стране Маниловых и Обломовых, в век философии неделания и непротивления, отец Иоанн звал народ русский не к ленивому, а к *деятельному* благочестию и звал к благородной свободе. Личной религией его был неустанный труд, направленный волей Бога. Пусть примет народ наш ту же веру — и он спасется.

1909 год

МОЛОДЕЖЬ И АРМИЯ

I

13 октября 1909 г.

Быть России или не быть — это главным образом зависит от ее армии. Укреплять армию следует с героической поспешностью, — вот как черноморские моряки когда-то укрепляли Севастополь. Армия — крепость нации, единственная твердыня, которою держится наша государственность. Вот почему так горько чувствуется недостаток в талантливых организаторах армии. Вот почему каждый слух о серьезной реформе здесь встречается с лихорадочным вниманием.

На этих неделях при главном управлении генерального штаба начались работы по пересмотру самого корня армии, — именно устава о воинской повинности. Это тема, которой не только военная интеллигенция наша, но и государственные люди должны уделить самое щедрое участие. Если бы хватило смелости — на что рассчитывать никак нельзя — следовало бы обсудить основной вопрос: нужна ли *всеобщая* воинская повинность? Не составляет ли глубокого предрассудка привлечение к военному делу всех без разбора, желающих и не желающих, способных и не способных? Читателю, вероятно, известно мое мнение о подобной армии (см. «Дружина храбрых»). Я думаю, что *всеобщая* воинская повинность есть частичный опыт введения социалистического строя и представляет собою глубокое извращение понятий о естественном обществе. Принудительный труд, труд как повинность, пренебрегая призванием и способностью, это мечта тех фантазеров, которые под предлогом освобождения ведут человечество к рабству. В моих глазах современная армия, будь то русская или германская, раз она состоит из вчерашних штатских людей, которые завтра опять будут штатскими, не есть ар-

мия, а есть милиция, со всеми плачевными недостатками этого рода войск. «Вооруженный народ» всегда будет вооруженной толпой, и чем более сокращаются сроки службы, тем менее делается армия военной. В конце концов гигантские армии нынешних буржуазных стран принимают бутафорский вид: они напоминают войска на сцене, парадирующие из-за кулис. Столкновение самых храбрых и самых непобедимых народов в маньчжурскую войну показало, до какой степени всеобщая воинская повинность неспособна решать задачи войны. Разразилась кровопролитная война, а результата ее не было. Почти полумиллионные армии разошлись, не удостоверившись, на чьей же стороне победа. Прежде — с действительно военными генералами и военными солдатами — такой исход войны был психологически невозможен. Упрекают Линевича, что он «выдержал характер» и не дал решающего боя. И в самом деле: вместо того, чтобы погибнуть через два года от петербургских микробов, — лучше было бы старому герою отдать свою благородную душу на поле брани... Но ведь еще удивительнее, что «выдержал характер» и Ояма. Почему же он, будто бы победитель, не соблазнился добить врага? Потому, очевидно, что знал плохие качества своей армии и не имел в нее той веры, какую имели в своих чудо-богатырей Суворов и Наполеон. Поживем — увидим: в надвигающихся громадных войнах ничтожество монструозных скопищ, именуемых армиями, скажется еще разительнее, и благо будет той стране, которая решится первая перейти к военной армии старого типа вместо теперешней штатской! Так как подобная реформа требует гениальной воли и доступна лишь какому-нибудь великому диктатору, то говорить о ней я считаю бесполезным.

Сколько бы ни пересматривали устав о воинской повинности, в нем эта черта—*повинность*, столь мало сообразная с геройством, непременно останется. Количество будет предпочтено качеству, механические условия — органическим. В старину военные уставы диктовались мужеством и были рассчитаны на героев. Нынче во всех странах военные уставы диктуются трусостью и сообразованы со штатским обывателем, с солдатом-дилетантом, наряженным в униформу. Прежде военным делало человека его львиное сердце, нынче — костюм. При таком состоянии общества прихо-

дится говорить не об отмене всеобщей повинности, — на это, повторяю, ни за что не решатся, — а хотя бы о некоторых улучшениях нелепой системы, о введении новых условий, которые хотя бы немного подняли военные качества разношерстного количества.

Из этих условий я останавливаюсь на некоторых, уже давно обсуждавшихся в печати. На днях сообщалось, например, что П. А. Столыпин очень заинтересовался идеей особого военного налога. Суть последнего в следующем. Если воинская повинность считается *всеобщей,* то несправедливо освобождать от нее кого бы то ни было, и те молодые люди, что получают те или иные льготы (по семейному положению и т. п.), обязаны все-таки нести известные жертвы для войны, хотя бы денежные. Затем, неспособные к войне тем не менее ведь пользуются военной защитой, стало быть, и они должны вкладывать в нее свой, хотя бы денежный, пай. Наконец, не желающие идти в строй, питающие отвращение к войне и болезненно-трусливые люди не должны браться в армию вовсе, как дурной материал ее, — но они должны оплатить ту военную защиту, которую дает им нация. Я лично вполне сочувствую введению подобного налога. Он даст значительные средства казне и очистит армию от негодных элементов.

В категорию неспособных к войне должны, мне кажется, зачисляться и враждебные России инородцы. Вместе с финляндцами следовало бы обложить военной данью евреев, поляков, армян и т. п. Гарнизоном государственности следует считать только *господствующее* племя. Золотой век нашей военной славы был тогда, когда армия набиралась из чисто русских. Насыпьте в пороховницу на треть мусору, и ружье едва ли выстрелит. Как Рим погиб от привлечения варваров в свои легионы, как от той же причины погиб соперник Рима — Карфаген, как погибла от той же причины великая персидская монархия, так в позднейшие века национальная пестрота погубила Византию и Польшу. Сильная армия должна быть строго национальной. Если мы побили Наполеона, то потому, что он повел на нас дюжину народов, а нас побили японцы потому, что армия наша сверху донизу, на целую треть ее, состояла из инородцев. Отстаивать державное могущество страны может только то племя, которое тысячу лет строило его и для которого это здание

священно, как дом родной. Одна треть инородцев делает нашу армию качественно хуже на 33 процента, чем в эпоху Суворова: уже одно это обстоятельство способно вести нас от поражения к поражению. Так как кровь и золото — ценности несравнимые, то будемте брать с плохо защищенных инородцев двойное, тройное количество золота за нашу кровь, но остережемся допустить к защите России скрытых врагов ее. Когда господа инородцы сольются с нами — другое дело, но теперь при теперешнем настроении воспаленных национализмом маленьких племен напускать их в армию — опаснейшая ошибка. Просто удивительно, куда пропал наш государственный инстинкт и до какой степени мы разучились различать друзей от врагов?

Каждый раз, когда поднимается этот глубочайшего значения вопрос — об инородцах на государственной службе, — наши «всечеловеки» выдвигают, по их мнению, ошеломляющий довод: разве не верно служили России такие инородцы, как Миних, Грейг, Барклай, Багратион и пр.? Разве не было между инородцами героев, жизнь свою положивших за нашу родину? На это каждый раз приходится отвечать: да, были герои, но они не в счет. Названные *иностранцы* были людьми сами по себе военного призвания. Это были артисты войны, и, подобно артистам, они успешно служили бы на какой хотите сцене. Дай нам Бог побольше Грейгов и Багратионов, людей великих, к какой бы национальности они ни принадлежали. Но несколько сот тысяч инородцев, входящих в нашу армию, разве все они люди военного таланта? Разве это все рыцари и герои? На одного замечательного инородца сколько, однако, бездарных и ничтожных, а главное — сколько холодных, втайне ненавидящих Россию! Для них война действительно только *повинность*, притом постылая; между тем, чтобы быть славною и непобедимою, армия должна отправлять войну как высокий долг. Между этими двумя понятиями большая разница!

В числе многих выдвигается еще очень важный вопрос военной реформы: о возрасте армии. Полезно ли сохранять, как призывной возраст, гражданское совершеннолетие, т. е. 21 год? Опыт показал, что этот возраст выбран совершенно произвольно и не оправдывает тех надежд, какие на него возлагались. Обращаю

внимание читателя на весьма замечательную статью полковника князя Багратиона в № 11 «Вестника Русской Конницы». «С каждым годом армия русская,— говорит князь, — становится все более хворой и физически неспособной. До трех миллионов рублей ежегодно казна тратит только на то, чтобы очиститься от негодных новобранцев, «опротестовать» их. Из трех парней трудно выбрать одного, вполне годного для службы. И несмотря на это, срок солдатской службы все сокращается. Хилая молодежь угрожает завалить собою военные лазареты. Плохое питание в деревне, бродячая жизнь на заработках, ранние браки, требующие усиленного труда в почти юношеский возраст, — вот причины физического истощения. В крепостное время народный труд и быт регулировались культурным надзором; преследуя лень, распутство и бродяжничество, помещики ставили народ в условия достаточного питания и здорового режима. После 61 года народ был брошен без призора. Устои семьи пошатнулись, молодежь потянулась на фабрики. Нынче парень с 14 лет и раньше уже не знает родной семьи; он ведет кочевой образ жизни по ночлежкам и трактирам около заводов. От худо кормленных и плохо работающих, недоедающих и перепивающих мужиков нельзя ждать здорового потомства. Среди пустых и вздорных вопросов, которыми заняты у нас теперь парламент и интеллигенция, — у нас не замечают этого надвигающегося ужаса: *вырождения* нашей расы, физического ее перерождения в какой-то низший тип. Еще на нашей памяти среди могучих лесов, теперь повырубленных, на благодатном черноземе, теперь истощенном, обитала раса богатырская в сравнении с бледными замухрышками, каких теперь высылает деревня. В 21 год нынешний деревенский парень является надорванным и полубольным. Врачи и ученые-теоретики чаще всего говорят на это: ну что ж, организм еще не развился, — дайте ему год или два окрепнуть. Но через год или два новобранец возвращается в часть таким же полукалекой. Да и от чего бы надорванному организму окрепнуть? Лишних два года недоедания и бродячей жизни, пьянства и полового истощения вряд ли способны укрепить организм.

Князь Багратион настаивает на том, чтобы призывной возраст отнести не к 23 годам, а наоборот, — понизить его до 18 лет, и приводит в пользу этого ряд

очень сильных доводов. Вот некоторые из них. При 21-летнем призывном возрасте в армию является 30 проц. женатых: в деревне спешат женить парня, чтобы взять в дом даровую работницу, когда он пойдет в солдаты. Повысьте прием до 23 лет, — тогда женатых явится 75—90 проц., и у каждого кроме жены будут брошены в деревне еще ребятишки. Не о службе думать такому солдату, а о том, не умирает ли с голоду семья. Понизьте призывной возраст до 18 лет — и вы сразу повысите качества армии на много степеней. Главное возражение против этого — мнение врачей, будто к 18 годам организм мужчины еще не сложился, особенно для тяжелой военной службы. Но жизнь показывает совсем иное. Вольноопределяющиеся и охотники, принимаемые с 18 лет, выносят солдатский режим не хуже 21-летних солдат, притом и режим этот, когда-то тяжелый, нынче чрезвычайно облегчен. Фабричный режим гораздо тяжелее, — а выносят же его 18-летние парни. Из 360 опрошенных кн. Багратионом новобранцев 25 проц. ушли из семьи 17 лет, 30 проц. — 19 лет и только 15 проц. дожили в своих семьях до 21 года. Сказать страшно, какие лишения до службы претерпевает иногда новобранец. Около *«40 проц. новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную службу»*. На службе солдат ест кроме хорошего хлеба отличные мясные щи и кашу, т. е. то, о чем многие не имеют уже понятия в деревне. На службе солдат получает теплое, гигиеническое помещение, исправную одежду, чистое белье, медицинский уход и сверх того правильные занятия, куда менее каторжные, чем работа на каких-нибудь заводах и рудниках. По легкости солдатской службы в нее могли бы идти не только 18-летние, но из местности южнее 52° широты — даже 17-летние парни. Пока еще юношеские силы не надорваны, пока молодой человек не втянут в разврат и пьянство, — было бы важно дать ему именно благодетельный для развития солдатский режим. Отличное питание, регулярная жизнь, гимнастика и строй, строгая дисциплина и возвышенные представления, связанные с военной службой. Чего же лучше? Хотите подготовить хорошего солдата, — так захватывайте его *в материале* его, в возрасте, когда человек не совсем испортился и доступен воспитанию. Захватывайте его, пока он не связан семьей и житей-

ским омутом, пока, отрывая человека, вы не разрываете ткани, к которой он принадлежит. В приготовлении офицера все понимают важность начинать военное воспитание возможно раньше. Но для нынешнего краткосрочного солдата ранняя подготовка еще важнее. Вопреки мнению врачей, Болгария ввела у себя приемный возраст в 18 лет и не раскаивается в этом. Англия, которая приступает впервые к введению всеобщей воинской повинности, поручила выработать проект ее лорду Робертсу. Престарелый фельдмаршал, по словам кн. Багратиона, первым пунктом проекта поставил именно 18-летний призывной возраст. Припомним, что и в античном мире юношей не заставляли томиться до 21 года, чтобы дать право защищать отечество. Врачи в определении зрелости меряют кое-какие части тела, не подозревая, что с военной-то точки зрения может быть то и важно, чтобы человек начинал службу не совсем зрелым. Война — героическое занятие; получать военное воспитание всего лучше в героический возраст, т. е. между 16 и 20 годами. Именно в этот возраст юноша всего более романтик, всего более склонен к увлечениям отважного соревнования. Всякая любовь в этом возрасте есть «первая любовь», священная для всей жизни. Полюбить военное дело в этот возраст — значит полюбить на всю жизнь. Потом, на третьем десятке лет, около жены и детей человек тяжелеет. Отбывает все повинности лишь тело его, а не душа.

Мне кажется, понизить призывной возраст тем более необходимо, что рано или поздно, уже по заявленной мысли Государя Императора, начнут же у нас в сельских школах обучение военному строю. Это введено уже в разных странах, и только отсутствие патриотизма в правящих кругах наших замедляет введение этой меры. Когда она будет принята, явится необходимостью приблизить к школьно-военному обучению действительную военную службу. Только тогда военное воспитание солдата приобретет характер курса и будет достаточно закреплено. Только этим путем может быть ослаблена крайняя опасность краткосрочной службы. Скажут: можно ли составлять армию из безусых мальчиков? Вынесут ли они тяжесть походов? На это скажу, что безусые мальчики вроде Александра Великого или Карла XII заставляли дрожать мир, и армии безусых завоевывали материки. Впрочем,

призывной возраст в 18 лет не сделает армию 18-летней: в ней, как и теперь, встретятся все возрасты мобилизации. Но до чего важно омолодить армию, показала прошлая война. Самые молодые дрались, как львы, и всего несчастнее чувствовали себя бородатые, «обабившиеся» солдаты запаса.

К этой теме я еще вернусь.

1910 год

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА

16 января 1910 г.

Великий князь Александр Михайлович издал 12 января обращение к громадному кругу русских людей, жертвовавших на усиление военного флота. Что делать с оставшимися 880 тысячами рублей? Те десятки миллионов рублей, что пожертвованы на усиление флота, все истрачены. Построено 18 минных крейсеров, 4 подводные лодки и достраивается минный турбинный крейсер. *Остатки от процентов*, указанные 880 т., могут быть истрачены или с тою же целью, т. е. для постройки какого-нибудь маленького военного судна, или обращены на более важное и более грозное орудие обороны, например, на организацию военного воздухоплавания. Комитет, в котором его высочество председательствует, не взял на себя смелости решить этот вопрос в последнем смысле. Впрочем, комитет фактически, по-видимому, не существует. На общее собрание из ста человек явилась едва одна пятая часть членов. Естественно, что горсточка людей не хочет взять на себя ответственность за меру, формально как бы выходящую из их полномочий. Великий князь обращается к жертвователям и просит их высказаться в двухнедельный срок (письмами на имя великого князя): «признают ли они соответствующим нуждам нашей родины использовать в настоящее время имеющиеся в распоряжении суммы на создание русского воздушного флота?»

Едва появилось в печати обращение великого князя, как газетные столбцы запестрели письмами жертвователей. Иные согласны с великим князем, иные — нет. В числе последних особенно выдается письмо князя Льва Кочубея. Оно полно недоумений, которые, наверно, будут повторены тысячами людей, не вникших в дело. Недоумения состоят в следующем. Князь Кочубей спрашивает: «Может ли комитет расходовать пожертвованные суммы на другой предмет, чем построй-

ка боевых судов?» Но ведь именно этот вопрос жертвователям и задает августейший председатель комитета. Строго говоря, обращение великого князя вызвано больше деликатностью в отношении жертвователей, чем законною обязанностью председателя. Дело в том, что воля жертвователей *уже исполнена* в точности. Весь пожертвованный капитал полностью израсходован на усиление флота. Речь теперь идет не о тех суммах, которыми могли распорядиться жертвователи, а о тех, которые им никогда не принадлежали. В момент пожертвования ведь не было никаких процентов; последние явились следствием *не употребления,* а хозяйственного *управления капиталом.* Комитет по усилению флота ответствен только за обусловленное жертвователями израсходование капитала, но в управлении последним он не отдает им отчета. Конечно, предполагается само собою, что комитет, состоящий из людей, горячо преданных идее пожертвований, сделает все возможное, чтобы использовать народные суммы с наибольшей для дела выгодой, — однако там, где жертвуется капитал, вопрос о назначении процентов может считаться еще открытым. В самом деле, возможен такой юридический вопрос. Вы жертвуете сто рублей с тем, чтобы комитет истратил их с величайшей поспешностью. Если комитет не мог сделать этого достаточно быстро и если ваши деньги работали в чуждых вашей цели кредитных операциях, то, естественно, деньги выросли в сравнении с указанной вами суммой и вышли из пределов того, что вы желали жертвовать. Если из ваших 100 рублей через несколько лет оказалось 120, то не вправе ли вы потребовать 20 рублей обратно или указать им иное назначение? Поэтому мне кажется мало обоснованной настойчивость тех жертвователей, вроде кн. Кочубея, которые иных назначений для процентов, кроме указанных в пожертвовании капитала, не допускают. Ведь деньги жертвовались в *военное* время и не только на боевой флот, но главное — на флот *воюющий.* С прекращением войны остановились и дальнейшие пожертвования. Если комитет не успел истратить пожертвования, а продержал ваши деньги в бумагах, вы вправе думать, что истинное условие вашей жертвы не выполнено и что как неиспользованною частью капитала, так и наросшими процентами вы смогли бы распорядиться иначе.

Говорят: «Без капитала не было бы и процентов, следовательно, пожертвование капитала определяет назначение и процентов». Это не всегда верно. В данном случае жертвовали на *неотложную* нужду государства, жертвовали не с тем, чтобы капитал нарастал процентами, а чтобы он по возможности был *сейчас* истрачен; накопление процентов таким образом противоречит самой идее жертвы. Если же неотложная нужда прошла, то изменились самые условия пожертвований. На усиление *мирного* флота, хотя бы боевого, но не воюющего, общество или не желает жертвовать, или поставило бы совсем другие условия. Здесь, пожалуй, главное требование было бы обратное — не истратить капитал, а наращивать его процентами до момента действительной нужды. Вместо того чтобы все эти минные крейсеры и подводные лодки бесполезно стояли в гаванях и старели в своих типах, вместо того чтобы они — как старые мониторы — изнашивались, не нюхая чужого пороха, и уносили с собой огромные вложенные в них капиталы, — полезнее было бы пожертвованные на них суммы держать в банках и накануне войны сразу купить военные суда последнего типа, новенькие и готовые к бою. Это не так легко, но и не так уж трудно, если вспомнить историю с «Ниссин» и «Кацугой». В данном случае я не рекомендую этой меры, но хочу сказать только, что при изменившихся условиях пожертвований вполне естественна перемена и назначений их. Для пояснения приведу простой пример. Вы дарите приятелю собаку для охоты. Неужели приятель обязан употреблять для охоты все бесчисленное потомство от этой собаки (ее проценты на капитал)? Сравнение не изящное, но над ним стоит подумать.

Россия потеряла свой флот, и потому кажется, что она не только тогда, во время войны, но и теперь нуждается в усилении флота в самой крайней степени. Каждый грош, который может быть притянут к этой цели, должен быть притянут. Но я думаю, не следует терять рассудка и тратить скудные гроши на сравнительно *второстепенную* нужду. На оставшиеся проценты от пожертвованного капитала, — пожертвованного не флоту, а *России,* — Россия может или заказать еще одну небольшую подводную лодку в 200 тонн, или выстроить сотню воздухоплавательных аппаратов. Спрашивается, что выгоднее в интересах государственной оборо-

ны? Подводный флот, конечно, необходим, но *одна,* притом небольшая, лодка не делает флота и ощутимой пользы не обещает. Между тем затрата тех же денег на военное воздухоплавание обещает великую вещь: возможность сдвинуть с мертвой точки этот государственный вопрос, который в самом зачатии своем угрожает нам отсталостью и поражениями.

Князь Лев Кочубей человек, по-видимому, необыкновенно добросовестный. Чувство долга и права он доводит до мучительного педантизма. «Ввиду специального назначения пожертвованных денег, говорит кн. Кочубей, я полагаю, что комитет не имеет ни нравственного, ни юридического права использовать их иначе, как на приобретение боевых судов». Ну да, кто же об этом спорит! Ведь плебисцит великого князя и имеет в виду успокоить педантов и изменить «специальное назначение» не иначе, как в его источнике — в воле самих жертвователей. Или, может быть, и сами жертвователи не вправе изменить теперь назначения своей жертвы? Раз выбрал направление, — не меняй его, хотя бы оно било лбом в стену. Я полагаю, что нельзя переходить черту, отделяющую великое от смешного. Не метафизика, а *здравый смысл* должен решать государственные вопросы. Князю Кочубею нелишне припомнить, что с 1904 года произошли крайне резкие перемены в общих условиях нашей обороны, и что если бы жертвователи на усиление флота *знали,* как обернется дело, то, конечно, и пожертвования сложились бы совсем иначе. Хорошо было «усиливать» флот, когда налицо был флот, как хорошо топить печь, когда есть печь. Но если самая печь разрушена, — большой вопрос, найдутся ли жертвователи «на дрова». Усилить большую силу хотя бы небольшим придатком — имело большой смысл, — но усилить тем же придатком явное бессилие, это почти бессмысленно. *Флот, как и армию, нельзя собирать на доброхотные даяния,* — это нищенство — позор для страны и гибель ей. Флот и армию мы должны создавать путем налогов, а не пожертвований. Затем, разве жертвователи 1904 года знали, во что разовьется воздухоплавание в 1910 году? Тогда, шесть лет тому назад, авиатика переживала свои доисторические, так сказать, времена: она не выходила из области детских игрушек и надуваемых газом пузырей. Чего стоила тогдашняя аэронавтика, доказал блистательный поход генерала Ко-

ванько в Маньчжурию. Ведь всего лишь в последние два года, точнее в последний 1909 год совершился великий, долгожданный подвиг и человечество действительно овладело атмосферой. Ведь теперь — едва построили подходящий мотор — не только дорогие дирижабли, но очень дешевый аэроплан, стоимостью в хорошую лошадь, держится в воздухе более четырех часов! Уже и теперь такие авиаторы, как Генри Фарман, в состоянии перелетать пространства между европейскими столицами. Уже и теперь гр. Ламберт, как сокол, носится над башней Эйфеля в Париже, поднимаясь выше версты над землей. В течение одного лишь последнего года достигли того, что начинают летать, подобно чайкам, в бурную погоду, когда ветер достигает скорости курьерского поезда. Шесть крылатых людей в 1908 г. разрослись за один год в целое полчище авиаторов. «Цеппелины» держатся в воздухе уже 38 часов, — срок достаточный, чтобы перелететь материк. Сейчас у немцев имеются уже шестнадцать воздушных кораблей. По английским источникам, к концу этого года у немцев будет до 70 кораблей, способных не только наблюдать за расположением неприятельских армий и крепостей, но и метать в них разрывные снаряды. Не забудьте, что, благодаря, кажется, русским террористам, бомбы ужасного действия доведены до размеров яблока. Как вы думаете: если бы наши жертвователи на усиление флота знали, что в воздухе носится новое великое изобретение и что вот-вот оно войдет в жизнь — неужели они предложили бы деньги на водяной флот, столь у нас разрушенный и разрушимый сверху и снизу и с боков? Мне кажется, великий князь Александр Михайлович прекрасно сделал, решив узнать *тепережние* желания жертвователей. Если нельзя вернуть затраченных 20 миллионов на мелкие морские суда, то хоть остаток-то процентов этого капитала мог бы быть направлен на более *современные* средства обороны, наименее у нас оборудованные.

Кн. Кочубей говорит, что двухнедельного срока мало для того, чтобы жертвователи могли дать свой отзыв: обращение великого князя дойдет, видите ли, до Владивостока на 14-й день и столько же времени должен идти ответ. На это позволю себе сообщить князю Кочубею об одном удивительном изобретении, которое называется телеграфом. Напечатанное в Петербур-

ге 12 января обращение великого князя может быть перепечатано во владивостокских газетах на *другой* день, и в тот же день владивостокские жертвователи могут сообщить великому князю свое решение. Стало быть, при добром желании, при живой отзывчивости вся операция плебисцита могла бы быть закончена в одни сутки — срок по крайней мере в 30 раз более короткий, чем указывает кн. Кочубей. Двух же недель за глаза достаточно. Кн. Кочубей думает, что для решения столь пустого вопроса должны быть созваны вновь собрания войсковых и морских частей, учреждений, обществ, дворянских собраний, земств, городских управлений и пр. и пр., «на что нужно немало хлопот и времени». Да, если так взглянуть на дело — с точки зрения рутинно-канцелярской процедуры, — то, пожалуй, и года будет мало на плебисцит. Но зачем же заводить тяжелую махинищу собраний, когда дело разрешается гораздо проще? Ведь все учреждения и собрания состоят из *людей,* из отдельных жертвователей. Почему же этим жертвователям не подать свои голоса прямо великому князю — письмом или телеграммой, а непременно нужно пустить эти голоса на обсуждение собраний, учреждений и т. п.? Господи, до чего мы мастера всякое простое дело делать сложным! Мы живем в век электричества, а движемся и шевелим мозгами в самом деле как черепахи.

Ревность кн. Кочубея в отношении интересов флота крайне симпатична, но почтенный князь, видимо, недостаточно ориентировался в положении дел. Воздухоплавание не только не чуждо современному флоту, но так же неотделимо от флота, как артиллерия, электротехника и водолазное дело. Летательные машины, пишет мне один сведущий моряк, — *единственное орудие против подводных лодок:* последние могут быть открыты в воде только с высоты. То же следует сказать относительно мин заграждения. Чайки потому и видят рыбу, что смотрят с высоты. А разве флоту не нужны, как армии, разведки, и разве все равно, открыть ли неприятельский флот за 10 миль, т. е. за полчаса до нападения, или за 50 миль? Без воздухоплавательных аппаратов современному флоту никак нельзя обойтись, и это великолепно понято немцами. Одну из своих воздухоплавательных станций они устроили в Вильгельмсгафене, т. е. на базе флота. Наши крейсеры, построенные на пожертвованные деньги,

должны считаться *недостроенными,* пока на них не хватает аэропланов. Нет сомнения, и армия нуждается в воздухолетах, притом в неотложной степени. Но естественнее ждать, что воздухоплавание начнется сначала на флоте, как в военной части, — наиболее подготовленной вообще к искусству плавания. Стоит только поместить аэроплан на железной рубке парового катера и дать катеру ход, чтобы получилась первоначальная скорость, необходимая для взлета. Падение в воду безопаснее, нежели на твердую землю, особенно если снабдить аппарат легковесящими поплавками. Моряки вообще более знакомы с действием ветра; каждый корабль к тому же представляет из себя плавучую мастерскую, где аэроплан может быть легко исправлен. Вне вахты и морских учений у моряков достаточно времени, чтобы практиковаться и в воздухоплавании. Последнее должно быть введено в круг таких специальностей, как артиллерия, минное дело, штурманское, водолазное. Если теперь же купить, пишет мне моряк, несколько десятков аэропланов и к весне раздать их на суда и вместе с тем выписать от Voisin'а (в Париже) десять монтеров-указателей (они же учат летать), то с уверенностью можно сказать, что к осени же нынешнего года у нас будет несколько сот умеющих летать флотских офицеров и матросов. На спорные остатки процентов, о которых говорит обращение великого князя, может сразу создаться весьма внушительная *школа* воздухоплавания. А именно в школе этого великого искусства у нас теперь самый страшный недостаток.

Я лично всем сердцем одобряю мысль обратить спорные 900 тысяч на закладку воздушного флота. Это крайне необходимое, может быть, более необходимое, чем водяной флот, орудие обороны. Армаду дредноутов когда-то еще мы заведем! Всего вероятнее — *никогда.* Похоже на то, что нам придется встречать чужие армады, пока они не выйдут из употребления, — более подвижными оборонительными средствами, столь же дешевыми, сколько страшными. Как я докладывал читателю не раз, нам нужен сейчас не флот, а *контрфлот,* — нужны подводные, надводные и, наконец, *воздушные* миноносцы. Аэроплан — не только разведчик, но и носитель бомб: это новый враг дредноутов, враг, может быть, более опасный, чем все другие, взятые вместе. Если судьба в наши черные дни выдви-

гает небывалое в свете оружие, то как не спешить воспользоваться им? Как не спешить изо всех сил, чтобы хоть в этом деле не отстать от соседей? «Промедление времени смерти невозвратной подобно», — писал Петр. Как все гениальные умы, великий царь понимал мистическую цену времени!

II

16 февраля 1910 г.

Итак, мы полетим! Мы будем наконец иметь воздушный флот — и не в далеком будущем! За это ручается энергия человека, ставшего во главе воздухоплавания, — е. и. в. великого князя Александра Михайловича. С замечательной быстротой и искусством его высочество провел в сущности пустой, но иначе *непреодолимый* вопрос с остатками пожертвований на флот. В две недели была опрошена вся жертвовавшая на усиление флота Россия, и сугубо подавляющим большинством, почти единогласно, решено остаток (около 900 000 р.) употребить на создание воздушного флота. Плебисцит прошел гладко, как все, за что возьмется свежий ум и твердая рука. Уже после объявления плебисцита оказалось, что и упорство комитета по усилению флота против воздухоплавания было лишь относительное. Меня посетил адмирал К. К. Деливрон и объяснил, что они, упорствующие, в сущности вовсе не против того, чтобы остаток от постройки военных судов был обращен на воздушные корабли, но им прежде хотелось бы, видите ли, построить еще одну какую-то подводную лодку...

Результат плебисцита, как известно, был доложен его высочеством в заседании комитета по усилению флота, и этот день — 30 января — следует считать зачатием русского воздухоплавания. Читатели помнят прекрасную речь великого князя и, как следствие ее, — постановление комитета (большинством 30 голосов против трех) обратить остаток в 900 000 руб. на создание воздушного флота.

Не столько этот, почти миллионный фонд, сколько, мне кажется, характер августейшего руководителя ручается за успех дела. Надо заметить, что в лице великого князя является не просто высокопоставленное лицо, которое громким титулом украшает затеянное дело

и придает ему обыкновенно чисто внешний авторитет. В данном случае носитель титула — испытанный деятель, способный быть движущею пружиною дела и доказавший уменье достигать блестящего успеха. Великий князь моряк по образованию и превосходный знаток морского дела. В последнюю из своих государственных задач — в организацию народного флота на собранные 17 миллионов рублей он внес, как говорят, огромное личное напряжение. Комитет под его руководством выстроил 18 минных крейсеров и четыре подводные лодки. Для частного предприятия это очень много. По качеству своему выстроенные суда составляют ядро возрождающегося балтийского флота. Будучи превосходной постройки и наилучшего вооружения, комитетские крейсеры служат действительною школой флота, как офицеров, так и команды. Но последние годы внесли, как известно, небывалый переворот в историю военных средств: разрешена задача воздухоплавания. Как человек живой и впечатлительный, великий князь Александр Михайлович не по газетам только следил за блистательным прогрессом этого дела. Он, бывая за границей, лично и ближайшим образом ознакомился с новейшим воздухоплаванием и не только изучил его, но и заразился, по-видимому, несокрушимой верой в него. «То, — говорит великий князь в своей речи, — к чему стремились в продолжение столетий и что считалось достижимым в далеком будущем, совершилось на наших глазах; не может быть сомнений, что воздух побежден, что будущее принадлежит воздушным кораблям... Следя за поразительными успехами полетов аппаратов тяжелее воздуха, я пришел к глубокому убеждению, что не в далеком будущем та страна, которая первая будет обладать воздушным флотом, будет непобедима в будущей войне... Горе той стране, которая не готовится к войне, которая не прилагает всех усилий стать сильнее внешних врагов!.. Нельзя медлить ни минуты... Насколько трудно построить флот дредноутов в России, настолько легко создать воздушный флот. Я глубоко убежден, что не пройдет и десяти лет, как водяной флот станет ненужным; бороться ему с воздушным не под силу, смысл его существования пропадет. Воздух принадлежит нам. Нет проливов, запирающих все наши моря; есть простор, который нам так необходим. Я не сомневаюсь, что принявшись энергично за создание воздуш-

ного флота, мы не только догоним, но и перегоним наших соседей... Германия первая оценила огромное значение воздушного флота и к осени текущего года будет иметь 24 воздушных корабля, а главное — опытный личный состав... Россия должна иметь воздушный флот. В противном случае нам грозит полное поражение».

Уже из этих выдержек речи великого князя беспристрастный читатель должен оценить, какое пред нами в лице его острое сознание опасности и какая вера в возможность спасения. Таким искренним языком не говорят ни невежественные, ни равнодушные люди, а только сильные, которые спешат к работе. Пред человечеством открывается поистине новая эра с будущим необъятного значения. Неужели молодая Россия, желающая жить, не ринется на оборону своей жизни? Неужели и тут в начале новой истории, где соперничество столь возможно, мы уступим своим соседям и обречем себя на погибель? Прежде чем тяжелая на подъем казна, цепенеющая в рутине, сообразит свой долг защищать отечество и в новых направлениях, прежде чем зашевелятся на дне бюджета казенные кредиты, — не обязано ли общество принести первые жертвы на живое и не терпящее проволочек дело? В ожидании государственного оборудования, которое всегда запаздывает, не должен ли сам народ начать то, что правительство обязано будет продолжить? Нужны большие всенародные пожертвования, и они должны явиться!

Что касается пожертвований, Россия тысячу раз доказала свою готовность жертвовать. Вся наша многострадальная история — сплошная жертва. Но для больших пожертвований необходимо сильное народное одушевление, и является вопрос, как создать его. На Западе воздухоплавание вышло из громадного общественного подъема, вызванного полетами Цеппелина и бр. Райтов. Заинтересованность авиатикой выразилась там в образовании множества частных воздухоплавательных кружков, аэроклубов, аэродромов, воздушных стапелей и т. п. В величайшую проблему века сразу вовлечены были многотысячные и миллионные массы публики. Эти массы дали и капитал, и предприимчивых искателей. В России, к глубокому сожалению, вместо поощрения интереса к воздухоплаванию до сих пор ставятся для него серьезные препятствия. Не

дальше как перед святками известный академик князь Голицын в своем докладе в Академии наук горячо жаловался на ничем не объяснимые преграды, которые ставит наша администрация любительскому воздухоплаванию. Устроили, например, студенты здешнего университета свой воздухоплавательный кружок, приобрели небольшой планер, арендовали на пустынном острове Голодае обширный участок земли, где они могли совершать свои пробные полеты. Все шло отлично, но после двух-трех пробных полетов явилась полиция и приостановила занятия. Почему? Потому что на это, как оказалось, не было испрошено разрешения. По-видимому, что тут по существу такого, что можно испрашивать и не разрешать? За границей посмотрели бы так: или воздухоплавание вообще преступно, или нет, и в последнем случае разрешение предполагается само собою. Пришлось, однако, воздухоплавательному кружку исполнить формальность, т. е. испросить разрешение производить пробные полеты 1—2 раза в неделю. На прошение в этом смысле, по словам кн. Голицына, был получен категорический отказ, притом без всякого объяснения причин. Через некоторое время просьба студентами была повторена и получен был второй отказ, столь же категорический. Кружок василеостровских авиаторов догадался, что не следует просить общего разрешения на производство полетов, а нужно просить разрешения произвести лишь пробный полет в один определенный день. Так и поступили. Теперь получился тоже отказ, но уже мотивированный. Оказалось, что разрешение полиции не может быть дано только потому, что прошение студентов подписано не правлением кружка, а только секретарем и не указаны меры предосторожности, принятые кружком для обеспечения безопасности авиаторов. Пришлось еще раз послать представителя кружка для объяснений. Но опять новость: заявили, что студенческий воздухоплавательный кружок, как легализированный только администрацией университета, может совершать свои пробные полеты лишь на университетском дворе, а для того, чтобы производить полеты на пустырях Голодая, нужна специальная легализация. Можно себе представить нервное настроение молодежи, желающей летать и встретившей такое необозначенное в физике воздуха препятствие. Но студенты решили довести дело до конца. Они послали *четвертое* прошение

с подробной докладной запиской, в которой указаны все меры предосторожности и обязательство, что посторонняя публика не будет допускаться. Приложен был устав кружка и удостоверение руководителя его, приват-доцента, о том, что единственным подходящим местом для полетов представляется Голодай. Казалось бы, все требования были исполнены. Какой же получился ответ? Отказа на этот раз не было, но не было и разрешения, а сказано было только, что разрешение на пробные полеты должно быть испрашиваемо каждый раз отдельно и заблаговременно. «За этой, — говорит кн. Голицын, — бесцельной почти трехмесячной перепиской, отзывающейся холодящим канцеляризмом, время было упущено и кружку волей-неволей пришлось отложить свои пробные полеты до весны». Но в течение долгих месяцев вынужденного бездействия — может явиться препятствие более грозное, чем эта волокита. Просто студентам наскучит мертвое мечтанье, они остынут в своем порыве и бросят его. Вот вам пример, как общественность наша, вообще не бойкая, вянет в самом зачатии своем, встречая чуть не полярный холод.

Кн. Голицын приводит другой пример: известный авиатор Гюйо, приехав в Петербург, хотел было на Коломяжском аэродроме до демонстрации перед публикой совершить пробные полеты. Является полиция и запрещает подниматься. Телефонируют и просят разрешить Гюйо сделать свою репетицию. Отвечают: сейчас нельзя, — через несколько дней — можно. Дело пошло по инстанциям и доходило, кажется, до товарища министра внутренних дел. Только через 2—3 недели спустя Гюйо полетел, но *самовольно*. После этого ему разрешено было сделать полет за деньги.

Академик кн. Голицын приводит ряд других примеров рутинного и враждебного отношения наших ведомств к самым легальным и невинным, но слишком новым для канцелярий вопросам. Например, Российский морской союз пригласил было мичмана Подгурского прочесть доклад о применении авиации к морскому делу. Мичман Подгурский уже два раза делал в Петербурге доклад на эту тему. Председатель союза просил морское начальство о разрешении мичману Подгурскому прочесть доклад. Почти накануне доклада, когда повестки уже всем были разосланы, получился ответ, что командир экипажа это разрешить не

может, обратитесь к командиру порта. А накануне доклада мичмана Подгурского экстренно услали в Кронштадт; так доклад его и не состоялся. При подобной панике относительно всякой новизны, при стихийном противодействии разрешающих и надзирающих властей скажите, как может развиться общественное одушевление? Откуда может взяться частная инициатива, и не естественнее ли ждать того, что и наблюдается вокруг, т. е. тупого и холодного безразличия публики ко всему? В те долгие месяцы, когда между просителями и разрешителями у нас идет нескончаемая полемика по вопросу — можно или нельзя, — в Германии уже почти каждый корпус имеет свой воздушный корабль и производится совместное маневрирование воздушных эскадр с внезапным их появлением над крепостями. Сравните живую одушевленную работу *там,* — с изнурительной волокитой по канцеляриям у нас!

Академик кн. Голицын, как моряк и профессор Морской академии, принадлежит к слою русских людей, особенно измученных нашим военным унижением и разгромом. Естественно, что его сердце исстрадалось, видя, как вместо восстановления из развалин мы с каждым днем плачевнейшим образом погружаемся в старую трясину общего индифферентизма. Кн. Голицын проектирует для живого дела воздухоплавания создать особое вневедомственное учреждение — главный воздухоплавательный комитет с особым исполнительным бюро. В состав комитета должны, по его мнению, входить только «лица, искренно преданные делу и желающие работать, а не те, у которых больше чинов и орденов». Но в прямое противоречие с этим прекрасным условием кн. Голицын желал бы видеть в воздухоплавательном комитете представителей самых чиновных учреждений: Совета Министров, обеих законодательных палат, Академии наук, главной физической обсерватории, главного инженерного управления и проч. и проч., до аэродинамического института г. Рябушинского в Купчине. Такой главный комитет из представителей семнадцати разных учреждений будет будто бы достаточно деятелен и авторитетен, чтобы взять на себя воздухоплавательное дело в России.

Вот мысль, имеющая наибольше шансов для осуществления и с которою, однако, никак нельзя со-

гласиться по существу. Эта мысль наиболее осуществима потому, что составляет излюбленный шаблон для всех междуведомственных комиссий и особых совещаний. Но неужели почтенный академик не наблюдал у нас ужасной работы подобных комиссий? Достаточно уже трех представителей разношерстных ведомств, чтобы получилась басня о лебеде, щуке и раке, а тут представительство предположено от семнадцати учреждений! Даже самые рьяные сочувственники воздухоплавания тут будут только мешать друг другу. Нигде не возникает столь жарких споров, как между членами комиссий, чувствующих себя безответственными за общий результат. Россия гибнет именно от бесконечного словоговоренья в комиссиях. Создать главный комитет воздухоплавания по типу, предлагаемому кн. Голицыным, значит обречь боевое и страстно кипучее дело обычному канцелярскому чернилоизнурению. Хотя бы одну — воздушную сторону жизни освободили от мертвящих комиссий!

Согласно с теми взглядами (см. «Электричество и черепахи», 9 января), которые я приводил относительно существа комиссий, я к предложению академика кн. Голицына внес бы следующую поправку. Собирайте главный воздухоплавательный комитет, но по *другому* методу. Если хотите живой и творческой работы, найдите *одно* лицо — вроде г. Цеппелина в Германии — и возложите на него всю власть и всю ответственность за дело воздухоплавания. Пусть это лицо пригласит себе в сотрудники кого найдет нужным — у нас или из-за границы. Пусть эти сотрудники включат в свой состав всех действительных работников и всех даровитых изобретателей. Но пусть ход дела решается не большинством голосов, всегда бессмысленным в подобных случаях, а живою властью главного вождя, как бы главнокомандующего в данной кампании. Ведь в самом деле идет некое *завоевание*. Необходимее всего тут *глазомер, быстрота и натиск* — качества вождя, диаметрально противные всему канцелярскому. Выберите одушевленного человека, но не набрасывайте на него петли «большинства голосов».

Именно наиболее одаренные и предприимчивые члены комиссий у нас задыхаются всего скорее. В качестве председателя одушевленный человек — живой страдалец, но дайте ему хозяйские, диктаторские права, — и он сумеет даже бездарных людей сделать пригод-

ными для их ролей, сумеет даже холодных одушевить! Нет власти выше полководца, нет выше обаяния полководца и нет наилучшего способа влиять на людей и использовать их силы. Именно потому, что воздухоплавательное дело — самое свежее и новое и со значением колоссальным, — оно должно быть поручено *одному* лицу, энергия и талант которого внушали бы общее доверие.

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ВОЕВАТЬ?

18 февраля 1910 г.

Простите за кощунственный вопрос, он был бы совершенно невозможен в иные — «славные», т. е. нормальные для России времена. Теперь же этот дерзкий вопрос задают и внутренние, и внешние враги наши, и некоторые с презрительной усмешкой отвечают: *нет!* Как дух уныния, проклятый Богом, в сердце многих-многих Русских заползает то же скверное внушение: «Россия воевать не может...»

— Как? — кричу я вне всяких рассуждений и соображений: как это великий народ воевать не может? Мне кажется, это основная колоссальная ложь, такая же ложь à priori *, как если бы допустить, что народ уже дышать не может или потерял способность питаться и любить. Народ *всегда* может воевать, если он еще народ, т. е. если он не развращен до подлого рабства упадком веры, разложением трудовой и государственной дисциплины. Если же народ уже развращен до этой плачевной степени, то мировой Промысел, наблюдающий за свежестью жизни, непременно пошлет такому народу войну. Завяжется целый ряд войн, чтобы искоренить нечестие, чтобы очистить огнем и железом гангрену духа и вновь научить падший народ быть мужественным и достойным жизни.

На тему «Может ли Россия выдержать большую войну» написана, к сожалению, небольшая, но интересная статья генерал-майора кн. Багратиона **. Автор статьи полемизирует с венским военным журналом «Danzer's Armee Zeitung», где высказано сомнение, чтобы Россия могла выдержать с успехом большую войну. Главную причину будущих, как и недавних пораже-

* Заранее, наперед (судить, утверждать) *(лат.)*.
** См.: Можем ли мы выдержать большую войну?//Вестник Русской Конницы. 1910. Январь.

ний немцы видят в неспособности русских начальников всех степеней и в отсутствии у них привычки к самостоятельной мысли и работе. Князь Багратион замечает на это, что «судить о всей русской армии по ее 1/5 части, составлявшей маньчжурскую», нельзя. Бесспорно, нравственный элемент у нас оказался слабым, слабее японского, между тем нравственный элемент учитывается 3/4, а материальный лишь четвертью. Но японцы незадолго до войны с нами воевали — вот их громадное преимущество. Они проделали генеральную репетицию в войне с китайцами (1895 г.) на том же театре войны и почти на тех же полях сражений. Японцами были двинуты полки и дивизии, командный состав которых стал лишь опытнее на десять лет, что составило огромный плюс для японцев. *«Этот плюс по отношению к Западу,*—говорит князь Багратион,—*теперь на нашей стороне.* У наших западных соседей только некоторые корпусные командиры нюхали порох, у нас же до 10 000 начальников разных степеней побывали в боях. Генералы: Гершельман, Иванов, барон Мейендорф, Бильдерлинг, Каульбарс, Ренненкампф, Самсонов, Мищенко, Батьянов, Зарубаев, Данилов, Лечицкий, Кондратович, Мрозовский, Цуриков, Лайминг, Леш, Хан-Нахичеванский, Орановский, Гернгросс, Путилов, Гаврилов, Мартынов, Павлов, Некрасов и многие другие, составляющие целую плеяду... все это обстрелянные львы в мундирах».

Если допустить, что из перечисленных имен не все львы, а есть и барсы, и если отобрать некоторые сомнительные отличия от несомненных, то даже и последних наберется внушительная группа, которой нет ни у Германии, ни у Австрии. Кроме генералов, у нас выдвинулись и штаб-офицеры; некоторых кн. Багратион перечисляет (Гилленшмидт, Курдюков, Рацуль, Критский, Дружинин и др.). «А среди обер-офицеров разве мало, — говорит он, — Зыковых, Железновых, Чеславских и пр., этих храбрейших из храбрых, усеявших поле битвы мертвыми телами...» «А разве мало таких, как ныне пор. Шикуц, заслуживших четыре знака отличия Военного Ордена, среди унтер-офицеров? А сколько «начальников всех степеней», показавших себя при подавлении беспорядков мужественными, распорядительными и бесстрашными под огнем?»

Вот основное наше преимущество пред западными странами. Наша армия только что воевала, их армии —

нет. Нужды нет, что наша армия была побита и в качестве таковой, как иные думают, морально пребывает в параличе. На самом деле это далеко не так. Война подымает дух *обеих* борющихся сторон—и победителя, и побежденного, подобно тому, как игра научает чему-нибудь не только выигравшего, но и проигравшего. Пусть подъем духа у воюющих разный, но это не меняет дела. Действие и противодействие — противоположны, между тем по природе они равны. Русская армия была неслыханно унижена в 1904—1905 годах, но, как сильное существо, пережившее тяжелую драму, армия наша приобрела некоторые глубокие и серьезные качества, которых ей прежде недоставало. Не говоря о непосредственном боевом опыте, не говоря о привычке к опасности и быстро развивающихся инстинктах борьбы, у нашей армии теперь имеется *жажда реванша*— безмолвная и скрытая, но реальная сила. И старики-генералы, и офицерская молодежь, и солдаты наши не рвутся театрально отомстить за родину, но в глубине сердца каждого русского, кто не продался евреям, живет эта естественная и страстная мечта — смыть бесчестье. Не говорите, что гордость народная — «пустое тщеславие». С поражением начинается трагический вопрос каждой побежденной расы: быть ей или не быть. Поражение есть пророческое предостережение. Народ, начинающий допускать себя до целого ряда поражений, тем самым обречен на гибель. Является невольно потребность проверить еще раз свое право жизни. Почему во всякой борьбе побитый, едва отдохнув, стремится возобновить бой? Потому, что с победой сопряжено царственное, так сказать, совершенство, достигается полнота могущества и все развитие, на какое жизнь способна.

Чувство реванша есть сила, обратная победе, но столь же ценная. Мне ген. Куропаткин говорил, в присутствии двух храбрейших героев нашей побитой армии, что мы гораздо сильнее, чем сами думаем. После франко-прусской войны ген. Куропаткину довелось быть долго во Франции и наблюдать французское офицерство. Оно горело жаждой реванша и, поджигаемое им, работало кипуче над восстановлением армии. Ген. Куропаткин убежден, что республиканское правительство сделало тогда огромную ошибку, не сумев использовать это чувство реванша. Победа была бы непременно на стороне Франции. Наша армия горит этим же

чувством: затаенной мечтой о восстановлении своей чести. Ближайшим объектом реванша считается обыкновенно вчерашний победитель, но военная честь восстанавливается вообще победой, хотя бы и над третьим, не менее храбрым противником. Франция, побежденная когда-то Англией, восстановляла свои лавры в Германии. Побитые французами и англичанами под Севастополем, мы забыли об этом после победоносной войны с турками.

Кроме предполагаемого разложения армии, враги России весьма учитывают нравственное разложение русского общества и народных масс. Мне кажется, и здесь наши враги могут «жестоко» ошибиться. Что русское общество и даже простонародье переживает период смуты — это верно, но именно война самое действительное средство скристаллизовать снова дух народный. Обреченное природой на непрерывную анархию — до такой степени растянуты у нас все расстояния — государственное племя наше лечилось от анархии нашествиями врагов. Варяги первые отковали наше национальное единство. Когда это единство в удельных распрях распалось, — татары накинули вновь железный обруч. Когда центробежные стремления объединенной Руси снова взяли верх, нашествие поляков из разгара смуты зажгло небывалый еще патриотизм. Нужно ли прибавлять, что нашествия Карла XII и Наполеона производили такое же могучее объединяющее влияние? Не дай Бог для нас слишком тяжелого испытания, но если бы враг обрушился на Россию, — нет сомнения, что следствием этого была бы громадная ответная волна русского одушевления. В психологии всего живого существует закон самосохранения; ничто так резко не может разбудить этот инстинкт в народе, как явная национальная опасность. Есть древнее изречение: «война делает героев». Следует понимать эту истину шире: *война делает весь народ героическим.* Даже люди анархического склада — разбойники и преступники — становятся способными в минуту боя на полное повиновение атаману и на истинные подвиги.

Враги России указывают, что после несчастной войны у нас вспыхнула революция и что то же самое будет в ближайшей войне. На это я отвечу следующее: *революция оттого и вспыхнула, что война не была докончена.* В так называемую русскую революцию (точнее — смуту) вошел весь неизрасходованный боевой

подъем русского народа. То, что предназначалось для Японии, по глубоко прискорбному недоразумению обращено было на русское правительство, не сумевшее истратить народное одушевление в сторону врага. Революционная смута ударила русское правительство, как плохое ружье при отдаче. Недолитая кровь на поле битвы была пролита уже дома. В старинные времена в военных сословиях порыв к войне был иногда так силен, что принимал сумасшедшие формы. За отсутствием врагов неистовые рыцари (берсекеры) рубили животных и даже неодушевленные предметы. Нет сомнения, что вторая *недоконченная война может вызвать* у нас другую революцию, подобную той, что вспыхнула в 1905 году. Народ державный питает глубокую потребность в *победе,* и если ему отказывают в ней, не исчерпав сил его, то оставшиеся силы он невольно направляет в разрушение. Но заранее никак нельзя решить, будет ли ближайшая война неудачной и удовлетворится ли наш правящий класс непременно позором для своего отечества.

Россия не могла бы вести большую войну, если бы вдруг опустились с неба какие-нибудь жители Марса или обрушилось нашествие врагов, вооруженных слишком новым и неравным с нами оружием. Этим путем нас сравнительно легко завоевали закованные в железо варяги и неуловимо быстрая на своих конях татарская кавалерия. Чтобы это не повторилось в будущем, нам нельзя отставать от соседей. Всеми мерами, не жалея никаких кредитов, нам следует прежде всего развивать военное воздухоплавание. Именно с этой стороны нам угрожает страшное неравенство оружия, т. е. несомненный разгром. Граф Цеппелин настойчиво заявляет о цели своих стараний: «Я работаю не для науки, не для человечества, не для Нобелевской премии мира, но прежде всего для того, чтобы дать Германии крупный перевес в грядущей войне». Если мы не догоним нашего соседа в воздушном флоте, мы будем в первом же столкновении *мгновенно* побеждены. Через два часа после объявления войны Петербург может быть разрушен бомбами сверху, т. е. может быть истреблено наше правительство, наши центральные учреждения, арсеналы, артиллерийские заводы, склады, запасы включительно до Государственного банка, где лежит полтора миллиарда золота. Подобными же бомбами могут быть разрушены вокзалы и телеграфные

станции, и мобилизация наша может быть сразу парализована. Подобными же бомбами могут быть расстроены крепости и лагерные стоянки. Не имея соответствующих воздушных эскадр, которые могли бы дать отпор налету и внести со своей стороны подобное же разрушение в неприятельскую страну, мы рискуем быть взятыми, что называется, голыми руками, совершенно как мечтательные жители краснокожих царств, увидавшие у берегов громадные испанские корабли, извергающие огонь. Не дальше как этой весной и этим летом Россия должна построить себе воздушный флот, при том не менее сильный, чем Германия. Что это материально осуществимо, доказывать излишне. Не следует только тратить драгоценного времени на канцелярщину, на проведение штатов для аэросекретарей и аэроасессоров.

Страшный вопрос о том, может ли воевать Россия, требует или трех минут благородной решимости, или тридцати томов ученой трусости, причем первое решение опровергнет второе. Так как речь идет о войне будущего и оружии будущего, то, мне кажется, Россия находится в лучших условиях относительно последнего. Что такое воздушный флот? Я полагаю, что это — возрождение нашего казачества. Ведь и казачество — как рыцарство, христианское и сарацинское, — было сильно летучестью своей, вихреподобным наскоком, способностью нанести удар и исчезнуть. Казаки по самой природе полувоздушные воины. На своих конях и челнах они были тем страшны, что, подобно грому, были быстры и неуловимы. Не то ли же самое нынешние аэропланы? Не составляет ли тактика их своего рода джигитовки, приподнятой на воздух? Вдумайтесь в это, вы увидите, что Россия обладает несколькими десятками тысяч молодых людей, тренированных на ловкость и полувоздушную отвагу. Всего быстрее и естественнее научится воздухоплаванию именно наше казачество, и уж во всяком случае оно не уступит в этом отношении немецким бауэрам и бюргерам.

Подробный анализ возможности вести большую войну едва ли был бы под силу даже главному штабу: вспомните, как грубо ошибся он перед последней войной в исчислении японских сил. Вспомните, что тотчас по объявлении войны у нас не оказалось в достаточном количестве ни горной артиллерии, ни пулеметов, ни крепостных орудий, ни достаточного количества снарядов и патронов. Само собой разумеется, что если и в

будущем нас ждет такой же сюрприз, то над всеми рассуждениями о возможности воевать следует ставить крест. Утверждать, что у нас со времени войны ровно ничего не делается по части вооружения и снабжения, я не берусь. По отзывам, доходящим со стороны, энергия в этом отношении военного ведомства оставляет желать многого, однако кое-что все-таки делается. Психологически невероятно допустить, чтобы после столь постыдного разгрома у нас совсем не подтянулись. Если не во всех частях, то в некоторых, по слухам, идет живая и кипучая работа.

Вопрос «Может ли Россия вести большую войну?» позволительно ставить только для того, чтобы показать всю чудовищную незаконность этого вопроса. Нельзя, не оскорбляя достоинства государственного, даже рассуждать об этом, как нельзя рассуждать о том, может человек защищать свою родину или не может. Большая война не роскошь, не прихоть народа,—это *основной долг его,* повелительный и священный. Долг этот может быть отложен, но непременно должен быть выполнен. К честному и точному исполнению этого долга народ обязан всемерно готовиться, готовиться радостно и непрерывно. «Не знаем ни дня, ни часа», но он настанет, этот грозный час, ибо с тех пор, как мир стоит, испытание войны не прекращалось. Психология людей слагалась сотнями тысячелетий; бессмысленно думать, что инстинкты борьбы исчезли за одно сорокалетие буржуазного мира. Если есть небольшие страны, где давно не было войн, то, вглядевшись пристальнее, вы увидите в их жизни глубокое развитие социального раздора, рост преступности, революционное брожение. Соперничество, не нашедшее внешнего выхода, обращается внутрь и, как всякая неудовлетворенная страсть, вместо полезной работы начинает совершать разрушительную.

«Да здравствует мир!» — заявляют весьма почтенные господа, от которых война зависит не больше, чем движение антильских ураганов. Можете провозглашать, господа, какие угодно сладкие пожелания, но хозяин жизни — Природа—знает, какие явления установлены в предвечном плане, какие сейчас идут и какие зреют в будущем. «Жив Господь! Он знает срок! Он вышлет утро на восток!» Он вышлет и тихое утро, и светлый полдень, но когда нужно — и *сокрушительную грозу.*

МАНИЛОВЩИНА В АРМИИ

23 февраля 1910 г.

Небезызвестный генерал-лейтенант А. А. Цуриков настойчиво просит меня поддержать поднятый им будто бы «огромного государственного значения» вопрос о преподавании сельского хозяйства в войсках. Генерал прислал мне свою брошюру: «На радость батюшке-Царю, на пользу матушке-России. Напутственная памятка запасному», а также восторженные отзывы об этой брошюре какой-то одесской дамы, нескольких извозчиков и одного священника. В брошюре, восхитившей этих читателей, генерал Цуриков проповедует уходящему в запас солдату кое-какие сельскохозяйственные сведения вроде тех, что помещаются в дешевых календарях.

Из уважения к когда-то великой русской армии я обязан заявить, что затея ген. Цурикова мне представляется очень вредной, а при широком развитии она может иметь действительно «огромное значение» для государства, но крайне печальное. Армия наша (как и все краткосрочные) и без того разлагается, теряя военный дух свой и не успевает переработать мужика в солдата, а тут мечтательные генералы наши стараются еще подменить военные занятия штатскими и на счет военного бюджета пытаются втянуть армию в какие-то совсем невоенные операции. Среди бела дня идет, конечно, крайне благонамеренная и объясняемая высокими побуждениями, но крайне опасная фальсификация — претворение воина в «просвещенного земледельца». Сколько бы одесских дам, извозчиков и священников ни восхищались брошюрой ген. Цурикова, она меня лично возмутила до глубины души. Отталкивает прежде всего весьма претенциозное заглавие: «На радость батюшке-Царю, на пользу матушке-России». Что это за манера у почтенного автора — самому себе выдавать блестящую аттестацию от имени «батюшки-Царя» и «матушки-России»?

Позвольте из означенной брошюры, широко распространяемой в войсках, сделать несколько цитат, чтобы показать всю ее необдуманность. «Ты кончаешь службу в полку и возвращаешься домой, — говорит ген. Цуриков солдату. — Не думай, однако, что с окончанием полковой службы ты кончаешь службу Царю и отечеству: ты только с одной важной службы — военной — переходишь па другую, не менее важную службу — идешь служить матери сырой земле» и проч.

Первая же мысль ген. Цурикова в первых же строчках брошюры — глубоко неверная, способная внести сумбур в ум запасного. Возвращаясь в *запас*, солдат вовсе не оканчивает *военной* службы Царю и Отечеству. Он продолжает ее в качестве запасного, обязанный по первому требованию вернуться в ряды армии. С другой стороны, солдат вовсе не начинает в деревне другой какой-то «службы» Царю и Отечеству в виде пахаря. Я в первый раз слышу, что существует всеобщая земледельческая повинность, сменяющая воинскую. Каждый запасной солдат волен избрать любой род труда, идти в сапожники, кузнецы, лакеи, фабричные или земледельцы, как волен и ровно ничего не делать, если у него есть средства. С отменой крепостного права остался только один вид обязательной службы (если не считать некоторых натуральных повинностей) — именно военная. Со всех других форм труда снята служебная черта — принудительность. С чего же это ген. Цурикову вздумалось сравнить *вольный* промысел с *военной* службой—с единственной подвижнической и героической и в силу того ни с какою частною работой несравнимой?

Есть у нас генералы военные, и есть, к сожалению, глубоко штатские, вся психология которых настроена на гражданские темы. Истинно военный генерал, отпуская солдата в деревню, дал бы ему, конечно, только военные напутствия, военные завещания. Вопреки ген. Цурикову, который внушает, что, отслужив три года, солдат перестает быть солдатом, истинно военный начальник постарался бы внушить, что *на весь срок запаса* и даже на весь срок ополчения солдат обязан считать себя солдатом, обязан беречь в себе тот военный дух, который приобрел в полку, и то воинское искусство, которому его научили. Истинно военный начальник постарался бы вложить солдату на веки вечные высокое напоминание о воинском звании и об исключи-

тельном долге защищать отечество. Ведь не для того же в самом деле государство три года кормит новобранца, содержит его и обучает, чтобы, уйдя в запас, он сбросил бы всю свою подготовку вместе с мундиром? Ген. Цуриков не нашел ни одной мысли, ни одной строчки, ни одного слова, чтобы напомнить запасному будущие военные его обязанности; он воспевает исключительно штатские, деревенские добродетели. И тут он повторяет избито либеральные и совершенно неверные мысли. «Ведь только деревня, — говорит ген. Цуриков, — дает тот *хлеб насущный,* без которого никто не может жить; вот почему нет более угодного Богу и более важного труда, как труд земледельца». Это целый букет идей, одна другой ошибочнее. Вовсе не *одна* деревня дает хлеб насущный. Этот хлеб дает всякий честный труд, в городе или деревне безразлично. Не одна крестьянская деревня занимается добыванием пищевых продуктов, а и городской капитал, приложенный к земле в экономиях и коммерческом скотоводстве. Какой именно труд всего более угоден Богу, об этом Христос сказал кратко: «Нет выше любви, как положить душу за друзей своих». Этим освящается скорее героическое, т. е. военное самопожертвование, чем всякий материальный, по существу корыстный труд. О «хлебе насущном» повелено просить у Бога, но дано напоминание, что «не хлебом единым живет человек».

Что «нет труда более важного для государства, как труд земледельца», — не от генерала бы русской армии это слышать! Труд земледельца не помешал одной половине России быть под татарами, другой — под поляками. Труд земледельца не мешает Индии существовать для английского государства, Чехии — для австрийского, Хорватии — для венгерского, Познани — для германского государства и пр. и пр. Наша Червонная Русь никогда не бросала труда земледельца, а *государство* свое потеряла Бог знает как давно. Вопреки ген. Цурикову, есть неизмеримо более важный *для государства* труд, чем земледелие, — это труд военный, труд героической обороны государства, труд защиты его независимого бытия. Поразительно, что даже заслуженные генералы наши, вроде А. А. Цурикова, у нас этого не знают! Основная высоко курьезная мысль ген. Цурикова это та, чтобы запасной солдат являлся мессией своей деревни, каким-то Гайаватой, культуртрегером, который «научил бы темных людей, сво-

их односельчан, уму-разуму, научил бы их порядку, правильному уходу за землей и тем накормил бы и просветил их». Совершенно, как видите, маниловская идея, фантастическая, отдающая полным неведением ни деревни, ни деревенского труда. «Чем же ты можешь послужить родной деревне? — спрашивает запасного ген. Цуриков и отвечает: — Да многим из того, чему тебя научили за *четыре* года на службе». Замечу мимоходом: неужели генералу Цурикову неизвестно, сколько лет служит солдат на службе? Подавляющее большинство солдат — пехота и пешая артиллерия — служат *три* года, а не четыре. Разница огромная! В действительности срок службы еще короче, так как высшему начальству дано право увольнять нижних чинов и ранее выслуги трехлетнего срока, а также — в годовые отпуска. По общему отзыву, сокращение службы до трех лет одна из неудачнейших реформ ген. Редигера, объясняемая не военными, а политическими соображениями. Все теперь жалуются, что при сокращенном сроке службы, при необходимом отвлечении войск в караулы обучение солдат до крайности стеснено. Не хватает времени, чтобы втянуть новобранца в военную его школу и выдрессировать из него военного человека. Казалось бы, при таком опаснейшем сжатии срока службы хотя бы эти немногие месяцы ее должны быть использованы сполна. Ан нет; из брошюры ген. Цурикова узнаем, что «в свободное от занятий время» в полках солдат занимают аграрными беседами, например разъяснениями закона 9 ноября. Узнаем, что в некоторых полках заведены «показательные поля», на которых солдатам объясняют, как правильно вести хозяйство, чтобы всегда был урожай и чтобы при этом земля не только не выпахивалась, а набирала бы все больше и больше силы. Ген. Цуриков утверждает, что солдата в полку не только обучают, но и научивают, «как надо обрабатывать и засевать землю».

Вот поистине ужасное открытие, если оно касается многих воинских частей! Стало быть, вместо того, чтобы заниматься своим прямым, бесконечно важным делом военным — обучением солдата, — мечтательные генералы занимаются с ним вопросами совершенно посторонними и с военным ремеслом не имеющими ничего общего. Одно из двух: или все эти сельскохозяйственные упражнения на показательном поле отнимают мало времени — и тогда они совершенный вздор и ниче-

му солдата не научают, или они отнимают у солдата много времени, и тогда это — преступление, обкрадывание учебных часов, без того в войсках недостаточных. Я думаю, что в действительности происходит то и другое, т. е. что солдат никакому земледелию не научается, между тем от военного дела его существенно отвлекают, и из новобранца выходит «ни пес, ни коза», по польской пословице, — ни солдат, ни фермер. Тут мы встречаем очень старое явление русской жизни — Тришкин кафтан, — т. е. наклонность резать в одном месте, чтобы починить другое. Наше оторванное от жизни правительство, например, уже расстроило этим способом две крайне важные государственные функции — духовенство и полицию. Скупясь на то, чтобы обставить как следует деревенскую организацию власти, в Петербурге порешили, что в деревне все могут сделать два добрых гения — священник и становой, притом задаром. Постепенно на священника и станового взвалили огромное дело статистики; правда, статистика получилась фантастическая, цена которой грош. На них же, на священника и станового, взвалили местную благотворительность, нотариат, сыскную часть, следственную, страховую и многое множество других. Батюшки должны были по замыслам петербургских либералов кроме своего прямого дела — обучения христианству — учить еще деревенских детишек грамоте, лечить народ, преподавать рациональное земледелие, спасать утопающих, собирать пожертвования на миллион различных хороших целей и пр. и пр. В результате получилось затормошенное сельское духовенство и изводящая бумагу полиция, оба — институты, поневоле забросившие свое прямое дело. Теперь ту же методу применяют к войскам. Хотят, чтобы солдаты научились воевать, да заодно, «в свободное от занятий время», научились бы и пахать землю как следует, и хозяйничать. Глубоко вредное смешение целей — в ущерб обеим!

Собственно, сельскохозяйственные советы ген. Цурикова критике моей не подлежат. Маленько мужицким, маленько слащавым стилем, фальшивым, как всякое подлаживание, тут преподаются, может быть, и полезные для земледельца советы, т. е. азбучные, тысячу раз издававшиеся указания на тему: «сейте мяту», как проповедует один сведущий человек из «Плодов просвещения». Может быть, повторяю, из прописных истин

ген. Цурикова по земледелию кое-какие небесполезны, но разве, говоря серьезно, можно 10-копеечной брошюрой сделать из варвара какого хотите дела — артиста? Разве можно по книжке выучиться танцевать? А культурное земледелие, я думаю, потруднее танцев.

Я ровно ничего не имел бы против брошюры ген. Цурикова, если бы он издал ее просто для народа. Это была бы еще одна посредственная брошюра в груде плохих, ежегодно издаваемых и мало кому нужных. Но в данном случае *генерал* снабжает *солдата* «памяткой», т. е. напутствием на всю остальную жизнь. И с этой точки зрения брошюра ген. Цурикова непозволительна. Не дело военного начальства заботиться о развитии штатских способностей солдата и штатских добродетелей. Сеять свеклу или тачать сапоги — все это очень почтенные занятия, однако не солдатские. Перед Богом и Государством в силу присяги генералы отвечают за солдата как за *солдата,* а не как за маляра или свиновода. На последний предмет у нас есть особые, штатские же генералы — в ведомстве земледелия и землеустройства, торговли и промышленности. Было бы странно, не правда ли, если бы какой-нибудь штатский генерал, вроде Гербеля, разразился военными поучениями для народа. Не менее курьезны и попытки военных генералов учить народ земледелию.

Брошюра ген. Цурикова, при всей незначительности, мне показалась глубоко знаменательной. Из нее вы прямо видите, чем заинтересованы вожди нашей армии и о чем им хочется говорить с солдатами. Им хочется говорить о навозе, о клевере, о картошке, о чем угодно, только не о ружье и не о той нравственной силе, которая приводит это ружье в движение. У кого что болит, тот о том и говорит. У генералов наших болит, очевидно, не слава отечества, погубленная плохою армией, не сознание бесконечно важного воинского долга, не тревога за будущее того народа, который разучился защищать себя, а вот все маленькие деревенские, навозные и картофельные вопросы, которые входят в ведение казенных и земских агрономов. Для нас, рядовых граждан, это крайне печальное предсказание. Не большая беда, «коль пироги начнет печи сапожник», но беда огромная, если при нашествии японцев или немцев наши солдаты ответят им рецептами, как сажать картофель.

«Занятия по земледелию», возразит ген. Цуриков, не

мешают военному делу, они идут в полках в *свободное* от военных занятий время». Позвольте, да какое же может быть *свободное* время у теперешнего краткосрочного солдата? Если бы нашлось такое, оно должно быть все до капли истрачено на военное воспитание солдата, на военное его образование. Хорошо быть знакомым с люцерной и клевером, но не лишне для солдата познакомиться и с историей великих войн своего отечества, с историей великих подвигов предков. Или это, ваше превосходительство, совсем не нужно? Или изучение этого совсем не требует времени? Или вообще нынче не существует культа войны и солдатам полезнее всего внушать толстовское непротивление?

Я вовсе не против любого «руководства к куроводству», не против талантливых попыток провести в народ полезные знания. Но не будем же устраивать контрабанды, не будем пользоваться генеральским авторитетом для внушения солдату штатских мыслей. Преступление тратить крайне драгоценное солдатское время на посторонние занятия. Генералам ставится задача: *осолдатить* мужика, а они *омужичивают* солдата. Генералам дана задача: зажечь в сердце обывателя дух воина и героя, а они внушают дух куровода и свиновода. Вредное, глубоко вредное, при всей благонамеренности, это дело. В ближайшей войне, когда под знамена, помнящие Скобелева и Суворова, явятся обученные вами огородники и землеробы, вы, может быть, пожалеете, что помогли им забыть их чисто солдатский курс!

Высшее военное начальство, мне кажется, должно обратить серьезнейшее внимание на развал армии вообще и на проникающие в нее штатские тенденции в частности. Необходимо, чтобы армия занималась своим армейским делом, и никаким больше! Необходимо, чтобы весь коротенький, страшно коротенький курс солдата был использован только на военное искусство. Необходимо послать к... врагу рода человеческого все штатские стихии, пытающиеся отвлечь солдата от его военной школы. Если нужна генеральская «памятка» солдату, то в виде курса тех знаний, которые он проходил. Пусть их повторяет и заучивает, всеми силами запоминает, не растрачивая драгоценного навыка своего из памяти. Если нужна запасному памятка, то дайте ему — в виде государственного подарка — описание великих подвигов предков. Если нужна памятка, то

дайте хоть коротенькую историю священных войн, которые народ русский вел за свою свободу. Посмотрите, что делают наши ближайшие соседи — Япония и Германия — для того, чтобы поднять дух народный вообще и рыцарский дух армии в особенности! Какой поэзией и глубокой верой, какой гремящей в веках славою окружена там военная доблесть предков! А у нас генералы, даже побывавшие на войне, ничего не могут придумать лучшего, как преподать благословение запасному солдату относительно навоза и картошки, в области которых последний новобранец, конечно, неизмеримо сведущее своего корпусного командира.

Вредная брошюра генерала Цурикова дает, однако, благодетельную тему военному министерству — заняться попристальнее запасным материалом армии. Наскоро обученный, наспех вытолкнутый из строя, запасной солдат очень плохой воин. Погружаясь в океан невоенной стихии, он быстро растворяется в ней и делается часто совсем негодным для войны. Чрезвычайно важно задержать процесс этого растворения и хотя на первое десятилетие запаса суметь внушить живой интерес к пройденному военному курсу. Обыкновенные повторительные сборы недостаточны: необходима широкая система мер к общей милитаризации народа через школу, через военно-гимнастические (сокольские) дружины, охотничьи и стрелковые союзы и пр. и пр. К этой первостепенно важной теме я прошу разрешения вернуться.

II

27 февраля 1910 г.

На защиту вредной для армии сельскохозяйственной затеи ген. Цурикова выступает мой обычный супостат в «Новом времени» — А. А. Столыпин. Первым доводом необходимости преподавать солдатам земледелие А. А. С-н считает то, что ген. Цуриков будто бы «что ни на есть боевой генерал, — один из тех, что за минувшую войну выделился как храбрец и как образцовый военачальник». На это я замечу, что, может быть, и действительно нужно немало храбрости, чтобы обучать солдата между прочим и агрономии, но я боюсь, не смешал ли А. А. С-н ген. Цурикова с каким-нибудь другим генералом? Во всяком случае мой оппо-

нент преувеличил боевую репутацию почтенного сельскохозяйственного генерала до *невероятной* степени. Как всем известно, ген. А. А. Цуриков был начальником штаба 10-го армейского корпуса при печальной памяти ген. Случевском. О действиях штаба этого корпуса лучше всего говорит история трагической гибели дивизиона Смоленского и оборона ген. Гершельманом д. Сахепу, а также сиденье в д. Падавязе 2, 3 и 4 октября с удивительными, памятными многим приказаниями.

Свидетели боевой деятельности ген. Цурикова живы. Он награжден золотым оружием, но уже после войны, в 1907 г., ген. Цуриков ходатайствовал о пожаловании ему Георгиевского креста, однако кавалерская дума отклонила это ходатайство. Последнее обстоятельство, конечно, не исключает солидной заслуженности ген. Цурикова, но не дает основания преувеличивать его сельскохозяйственную реформу в армии.

Мирные занятия земледелием в своей части ген. Цуриков завел в 1908 г. и поручил читать лекции солдатской агрономии корнету Литвину. Как мне сообщают, собственные познания почтенного корнета по части земледелия оставляют желать *весьма многого*. Под агрономические лекции отводятся праздники или то свободное время, на которое нижние чины имеют право по закону. Для нашего солдата, как известно, из всех занятий самое невыносимое — это т. н. «словесность», и, как мне пишут, нижние чины встретили добавочную словесность не с увлечением, а с отвращением. В полках наших встречаются представители самых далеких краев и народностей — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды» — и всем им втолковывается один и тот же сельскохозяйственный рецепт. «Вы сами знаете, — пишут мне из одной подобной части, — что значит, когда начальство заводит такие занятия. Это значит, что все желающие прислужиться (а таких везде много) всегда переусердствуют в сторону желаний начальства, и картина поневоле получается ужасная». Это мне пишут люди, лично наблюдавшие солдатское земледелие, и я думаю, А. А. Столыпин согласится, что свидетельство очевидцев коечто значит.

Мой оппонент защищает сельскохозяйственные занятия в полках не с точки зрения обещанного ген. Цуриковым великого, в течение десяти лет, культурного

переворота, а лишь как приятное (будто бы) развлечение для солдата. «Ничто так не утомляет, как однообразие труда, — пишет А. А. С-н. — Отчего писатель берется за ручной труд, отчего мыслитель и философ отдыхает за музыкой или живописью?» На это лестное для нижних чинов сравнение с писателями, мыслителями и философами я позволю себе заметить, что из множества писателей, мне известных, я не знаю ни одного, который бы брался за ручной труд, и даже не слыхивал о таких. Единственный в этом роде был Л. Н. Толстой, который — когда забросил литературу, пробовал было шить сапоги, класть печи «бедной вдове», возить воду, но вскоре, однако, оставил этот ручной труд и вернулся опять к писательству. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, ни Гончаров, ни Островский — ни один, сколько помнится, настоящий писатель не искал отдыха в ручном труде. Из «философов и мыслителей», отдыхавших за музыкой и живописью, я знавал так называемых дилетантов, которых философия была не лучше их живописи, а музыка хромала, как и мысль. Настоящие философы, как вообще великие люди, обыкновенно всецело погружаются в свое единственное призвание и в нем одном находят неисчерпаемый, вечно свежий интерес.

А. А. С-н говорит об *однообразии* солдатского труда, о том, будто «солдаты изнывают от казарменной скуки». Правда ли это? И разнообразие, и скука допустимы лишь в тех воинских частях, где начальство преступно равнодушно к военному делу и где последнее поставлено совсем бездарно. Можно ли вообще говорить об *однообразии* в области столь живой, столь деятельной, полной героического интереса, каково военное искусство? Военная гимнастика, строй, маршировка, *если они хорошо поставлены,* так же интересны, как танцы, и способны больше увлекать молодежь, нежели утомлять. Затем — окопы, рытье траншей, уменье быстро поставить лагерь и снять его, уменье приспособляться к местности — разве все это не глубоко интересно? Разве можно назвать такие занятия однообразными? Затем — стрельба в цель, — разве это не увлекательный спорт? Искусство борьбы на штыках и саблях — разве это не другой столь же любопытный спорт? Переберите весь курс солдатского обучения до караульной службы включительно, — он весь

соткан из разнообразных игр и состязаний, из драматических представлений, дающих громадную пищу воображению сколько-нибудь здорового парня. О тупицах и идиотах не будем говорить, но каждый заурядный новобранец — ведь это почти юноша с ненасыщенными потребностями игры и спорта. Дети недаром играют в солдаты: работа солдатская настолько сама по себе занимательна, что тянет подражать ей. Кроме отвратительной «словесности» — тяжелой вследствие отменно глупой постановки этого предмета, — все занятия нижнего чина интересны. Меняясь точно в калейдоскопе, они дают упражнение всем центрам мозга и всем способностям. Если заведутся среди солдат философы и мыслители, которых более удовлетворяет живопись и музыка, то почему не дать им *военной* живописи, *военной* музыки? Нынче существуют могущественные и дешевые средства демонстрации искусств: волшебные фонари, кинематографы, граммофоны. Дайте нижним чинам полюбоваться картинами сражений, портретами великих полководцев и героев, картинами их подвигов — вот вам и живопись для солдата. Дайте послушать классические марши, военные песни и гимны — вот лучшая музыка для солдата. Почему не воспользоваться искусствами и не ввести их в военное воспитание? Но не забывайте, что *все* воспитание, *вся* жизнь солдата должна быть военной и никакой иной. Необходимо, чтобы хоть эти-то жалкие три года военной школы солдат набрал столько военных впечатлений и столь глубоких, чтобы потом на долгие годы, если не на всю жизнь, в нем оставалось военное внушение.

Говорить об *однообразии* военного дела значит не иметь о нем ни малейшего представления. Это дело — целый мир, где есть своя религия, своя философия, своя наука, свое искусство, своя литература. Война — самая драматическая область жизни, и допустима ли в полках «казарменная скука» при сколько-нибудь военном начальнике? Конечно, посадите в командиры военного чиновника, тупого канцеляриста, и он, нет сомнения, превратит казарму в мертвый дом. Конечно, трусливая и равнодушная к войне штатская душа в состоянии заморозить самое яркое и страстное одушевление солдат. Но я говорю не про этот несчастнейший, хотя, впрочем, и не редкий случай. Я говорю о *нормальных* условиях. Во главе армии должны стоять ге-

роические вожди, артисты военного дела, способные заразить войска фантастическим интересом к войне. Существуют ли такие люди в природе? Да, и их немало! Их гораздо больше, чем это кажется, но большинство их вынуждено приспособляться к бездарным и холодным господам, глубоко штатским, пролезшим коегде в генеральские мундиры. Душа армии — офицерский корпус. Дайте нижним чинам офицеров, любящих войну, заинтересованных войной, и вся солдатская служба превратится в сплошное наслажденье. Тягости службы? Да помилуйте, — в них-то и прелесть! Какой же спорт не тяжел? Или акробату даром дается его ловкость? Или атлет, танцор, актер, музыкант без труда завоевывают свои лавры? Почитайте историю великих походов — разве это была не каторжная работа? Однако солдаты шли с песнями по сорока верст в день, чтобы не отдыхая (правило Наполеона) броситься в бой! Умирали с блаженством (как это тонко понял Байрон в описании суворовского штурма Измаила). А тот, кто иногда калекой возвращался домой, на всю старость становился восторженным Гомером пережитых ужасов. Боже мой, — да если бы война сама по себе не была увлекательна, то возможна ли была бы история вообще, возможны были бы Греция и Рим и средние века? Как бы народ ни падал до морального ничтожества, как бы ни растлевал душу в мещанском счастье, — природа возвращает его к благородному, *сверхъестественному* методу жизни, к *борьбе*. Борьба за существование есть глубоко философское требование природы, и есть борьба не за жизнь только, а за нечто высшее жизни: за *совершенство*. Выживают более сильные, более способные, более удачные. Победа дается более отважным, более героическим племенам, тем, в душе которых всего ярче горит божественный пламень любви к родине и национальной чести. Народы трусливые, пьяные, ленивые, развратные составляют преступление в глазах природы, и она беспощадно выметает их как зловонный мусор. Очистителями земли являются по воле Божией воинственные народы. Присмотритесь к ним: они всегда — наиболее благочестивые, наиболее трудолюбивые, а главное — они наиболее благородные в данный момент истории. В презрении к врагу, позорящему землю, победители охотно идут на смерть, но сама смерть отступает пред героическим народом и пожирает трусов. В наш пороч-

ный и обрюзгший век, век торгашеский и маклаческий, некоторые народы позабыли эпопею своей древней молодости. Они до жалости трусят, как бы кто-нибудь не побил их. Мир, во что бы то ни стало мир! Всякое первородство отдадим за чечевичную похлебку! На эти рабские крики приходит высшее существо, народ-победитель, и отнимает не одно первородство, а и *чечевичную похлебку*... Пусть не думают «мирные буржуа», что им придется пожертвовать только народной честью. Теряя честь, трусливый народ теряет обыкновенно и территорию свою, и свою свободу!

Я потому близко к сердцу принимаю вредные сельскохозяйственные затеи генерала Цурикова, что они слишком уж рекламно утверждают давно идущую очень сложную процедуру обмещаниванья нашей армии. Ген. Цуриков у нас не один, он даже не первый в своем роде. Ген. А. Пржецлавский пишет мне, что идея обучать солдат сельскому хозяйству принадлежит ему, ген. Пржецлавскому, и что именно он возбудил вопрос об этом еще в 1881 году. С чем его и поздравляю! Повторяя идею Аракчеева о военных колониях, ген. Пржецлавский требовал колонизации войск на земельных участках. Правда, ген. Пржецлавский преследовал тут не столько агрономические, сколько экономические цели. По его расчетам, военные колонии давали бы ежегодно России 200 миллионов р. барыша. Бумага, как известно, все терпит, и возможны еще более фантастические расчеты. Для меня кажется громадной опасностью, когда на армию начинают смотреть не как на армию, а как на источник еще каких-то задач и прибылей. Нельзя, господа реформаторы, с одного вола драть семь шкур. Сегодня вы требуете, чтобы войска несли полицейскую службу: опыт опасный, очень вредный для армии, так как отвлекает ее от военного обучения. Но куда ни шло: война с внутренними врагами есть трагическая необходимость. Но завтра на ту же армию вы почему-то возлагаете земледельческие задачи. Послезавтра вам вздумается приспособить армию для постройки железных дорог, соблазнительно, не правда ли, использовать будто бы «свободные» руки. Затем какой-нибудь превосходительный реформатор догадается обучать солдат кустарным промыслам: тоже, если хотите, вещь полезная! Наконец, не пустить ли нижних чинов торговать чем-нибудь на улице «в свободное от служебных занятий время»?

Согласитесь, что если каждый нижний чин выторгует всего лишь по два пятиалтынных в день, то это составит тридцать миллионов копеек, т. е. более ста миллионов рублей в год! Серьезное подкрепление к военному бюджету, не правда ли? Господи, сколько блестящих идей на свете!

Не троньте армию. Не мешайте ей заниматься своим огромным, бесконечно важным для государства делом. Что это за мода: самый страшный и трагический труд, от которого зависит, быть России или не быть,— и его-то именно опутывают всякою посторонneю обузой. Та же казна обучает девочек балетному искусству и юношей — живописи. Придет ли в голову кому-нибудь предложить обучать балерин «заодно» кройке и шитью, а художников — огородному делу? Никому не придет в голову такая нелепость. Почему же это допустимо в отношении самой огромной и самой важной школы в государстве, школы солдатской? Неужели столь элементарное неуважение к военной специальности никого не оскорбляет? Неужели армия у нас так уж заброшена, что за нее и вступиться некому?

Каждый день читаешь что-нибудь мелкое, но глубоко возмутительное по части обмещанивания армии, по части растления ее штатским, либеральным, интеллигентским духом. На днях в газетах напечатано такое, например, трогательное известие. Преподаватели виленского военного училища обсуждали на совете вопрос о сближении юнкеров с местными гимназистами и реалистами высших классов. Судили-рядили и пришли к заключению, что это вопрос очень важный, что нужно во что бы то ни стало и всеми мерами сближать военную молодежь с гражданской. Постановили войти в сношение с учителями гражданских школ и совместно с ними устраивать для военно-штатской молодежи вечера, лекции, прогулки и пр. и пр. Прочел я это изумительное известие и руками развел. Что же это такое у нас в самом деле творится среди бела дня? Неужели неизвестно военному начальству, *каким духом заражена теперь гражданская школа* — не только гимназии и реальные училища, но даже духовные семинарии? Неужели неизвестно военному начальству, что *высшие классы средних школ дают самых яростных революционеров* — первокурсников высшей школы? Неужели неизвестно военному начальству, что город *Вильно набит евреями, поляками* и *латышами* и что

средние школы этого города набиты именно этим враждебным нашей государственности элементом? Стараясь о *сближении* юнкеров с распропагандированными евреями и поляками, о чем же собственно вы стараетесь, господа виленские военные педагоги?!

Шопенгауэр рекомендует наблюдать мелкие явления, чтобы не быть застигнутыми врасплох — крупными. Наблюдайте за армией и военной школой! *Они в опасности,* и эта внутренняя опасность сильнее, может быть, внешней. На армию и военную школу наплывает отвратительный пошло-либеральный дух. Идет вольное и невольное стремление рассолдатить строй, обмещанить его, растворить в буржуазной гражданственности, в интеллигентском демократизме. *Военную* армию со всех сторон хотят сделать *штатской,* т. е. в стиле времени — возможно менее государственной, возможно менее национальной. В состав русской армии на целую треть ее подмешивают инородчины, разноверной, разноязычной, давно вспомнившей о своей древней вражде к России. Офицерский корпус тоже засорен инородцами до невозможного. Всеми правдами и неправдами в офицеры проникают евреи-выкресты, и даже в генеральном штабе, даже на западной границе нашей появляются превосходительные Мардохеи. Но что ж тут, впрочем, удивительного, когда сами русские генералы доходят до мысли, что призвание армии не в том только, чтобы воевать, а и сажать картофель?

Вступив в картофельный период нашей военной истории, всего вероятнее, что им мы и окончим.

1911 год

ХОРОШО ЛИ СТРЕЛЯЕТ АРМИЯ?

19 июля 1911 г.

«Компетентные участники русско-японской войны утверждают, что *в боях пехота наша стреляла плохо*. Такой же взгляд на нашу стрельбу высказывали также иностранные корреспонденты и даже японская печать. О неудовлетворительности нашей стрелковой подготовки пишут много и теперь, но вопрос далеко еще не исчерпан, недостаточно освещен и слишком мало подчеркивается».

Чтобы на меня опять не закричали фиговые штаб-публицисты, я спешу доложить, что вышеприведенное мнение о нашей стрельбе *не мое*, а взято мною из авторитетной книги капитана 11-го стрелкового полка Степанковского: «Методика Стрелкового Дела». Автор «Методики» — специалист по стрельбе, прикомандированный для опытов к ружейному полигону Офицерской стрелковой школы. Он «убежденный огнепоклонник, стрелок старого, крепкого закала», — а названная книга его только что вышла *вторым* изданием, причем издает ее известный г. Березовский, редактор «Разведчика», который плохих книг не издает. Если уж такой специалист и своего рода профессор стрельбы, как кап. Степанковский, придает веру общему утверждению, что наша пехота на войне стреляла плохо, стало быть, она стреляла действительно плохо и, стало быть, что же это за пехота, если она стрелять не умеет?

Как я уже докладывал читателю, опыт последней войны показал, что 94 проц. выбывших из строя были выбиты ружейными пулями. Не штык, не артиллерия, а именно солдатское ружье решает исход сражений, а с ним и судьбу народную. Неужели вопрос этот не заслуживает самого пристального внимания всех, пока гром еще не грянул? Именно теперь, в июле и в августе, начинаются инспекторские смотры стрельбы в гвардии и в армии. По Петербургу эти дни ходят не-

хорошие слухи относительно приемов, посредством которых один полк, по особым уважительным условиям не могший показать хорошей стрельбы, показал все-таки отличную. Я получил также одно, к сожалению анонимное, но от «группы молодых офицеров» письмо, в котором полностью указана одна пехотная дивизия и полк, где командир в прошлом году не постеснялся войти в соглашение с нижними чинами для такой операции: «После предварительного осмотра инспектирующим новых мишеней и ухода его на линию огня, махальные заменили новые мишени другими, уже заранее простреляными; кроме того, когда инспектирующий назначил 4 роты на стрельбу и повернулся к ним спиной, то из свободных рот выбежали отличные стрелки и заменили слабых стрелков в ротах, назначенных на стрельбу. Такой обман проектируется и в этом году вопреки желанию большинства офицеров, сознающих, что подобные приемы ведут нас к новому позору...» Раз указанное печальное явление хотя бы в исключительных случаях замечено, то самые добросовестные инспекторские отчеты не могут ручаться за свою точность.

Читатель вправе заметить: пусть армия наша в прошлую войну стреляла плохо, но, вероятно, за истекшие-то шесть лет мы исправили этот недочет. Увы, уверенности в этом нет ни малейшей. Тот же капитан Степанковский в введении к названной книге пишет: «Год за годом проходит со времени Портсмутского мира, а стрелковый наш опыт остается в прежнем виде... В какой-то странной нерешительности мы стоим на распутье и чего-то ждем. Но не ждут наши соседи и торопятся возможно полнее использовать данные, добытые нашим же горьким опытом... Как в спертом воздухе давно не проветриваемой комнаты, куда не проникает живительный луч света, — в нашем застоявшемся стрелковом деле накопившаяся годами затхлая, удушливая атмосфера не дает вздохнуть полной грудью, мешает приступить к серьезной, ответственной работе. В чем же причина этого застоя?»

Причина, если верить вполне сведущему автору, заключается главным образом *в отсутствии должных инструкций*. «Мы прекрасно сознаем, говорит кап. Степанковский, что стрелковой практике предстоит небывалое до сего развитие на новых, лучших началах, но... не имея вполне согласованных с требованиями боевого

опыта руководств, мы бессильны». Если перевести это на обыкновенный язык, то в столь колоссально важном деле, как обучение армии стрельбе, тормозит составляющее руководства начальство. За шесть лет после поражений все еще не успели свести боевого опыта стрельбы в несколько страниц инструкции. Надлежащая комиссия для составления стрелкового руководства, вероятно, назначена, но она, очевидно, не спешит с этим нужнейшим делом, ибо жалобы на отсутствие руководства продолжаются до последних дней. Из дальнейшего повествования кап. Степанковского вы узнаете, как вообще тяжела опека над армией будто бы ученых теоретиков, в сущности же практических невежд, тех штабных «моментов», которые поистине задерживают прогресс армии вместо того, чтобы двигать его. «В то время, как переход к 4-линейной винтовке, говорит кап. Степанковский, вызвал всюду на практике большое увлечение стрельбой и стрелковое дело начало заметно прогрессировать, — руководством в этом деле была для нас «теория» стрельбы, и теория настолько несовершенная, что всюду практика стремилась обогнать ее; когда же мы перешли к 3-линейной винтовке и когда явилась необходимость двигаться усиленным аллюром, мы начали руководствоваться одним «Наставлением».

Но, может быть, казенное «Наставление» достаточно хорошо составлено? В том-то и беда, что нет. «Опека «Наставления» над стрелковой практикой делается, иной раз, тяжелой», говорит кап. Степанковский... «Опека эта привела к нарождению рядом с наукой официальной науки неофициальной, что ведет к проявлениям особенно нежелательного стрелкового раскола». «Опека эта цели не достигает и не имеет должных оправданий... Опеку полезно было бы облегчить, чтобы открыть простор самодеятельности армии». Читатель оценит необыкновенную осторожность выражений, которые приходится употреблять капит. Степанковскому, как лицу подчиненному. Оказывается, что настоящее время (после войны) «особенно невыгодное» в стрелковом отношении: «Необходимость обновления офицерского состава армии выбрасывает за борт наряду с потерявшим трудоспособность и много сведущих работников». «Тот стрелковый опыт, который выручал нас в разных трудных случаях обучения, испытывает сильные колебания и исчезает вместе со старыми работни-

ками, между тем этот стрелковый опыт создавался многими годами и усилиями тысяч лиц. Теперь эти тысячи лиц заменяются новым элементом... к сожалению, малоопытным». Молодые офицеры малосведущи в стрелковой науке, «пройдя ее на рысях в наших военных училищах в том объеме, какой установлен для армейских частей. Такой объем может быть и достаточен, чтобы научиться кое-как стрелять, но недостаточен для полного ценза стрелкового учителя». В военных корпусах и военных училищах у нас проходится длинный ряд предметов «общеобразовательного курса», но зато и тут, как в духовных семинариях, не хватает времени изучить как следует специальные предметы. Последние приходится проходить *на рысях,* т. е. крайне поверхностно. Молодой офицер, выпускаемый как учитель фельдфебелей и солдат, умеет, если угодно, выстрелить рядом хронологических цифр и фактов, но не умеет выстрелить как следует из ружья. В результате, когда под предлогом очищения армии от устаревших элементов очистили ее от практически знающих офицеров, — общий военный тон армии у нас понизился и начали замечаться признаки той анархии, которую вносит с собою всякое дилетантство. В частности, что касается столь центрального дела, как обучение стрельбе, — «в приемах и системах обучения ее, по словам кап. Степанковского, существует слишком много разнообразия. *Все прекрасно сознают, что это разнообразие крайне вредно для дела, но тем не менее* кому же неизвестно, что *трудно найти два полка, в которых системы обучения стрельбе были бы совершенно одинаковы».* Анархия — тяжелое слово, но оно само напрашивается в данном случае. Часто приходится наблюдать, говорит г. Степанковский, что «даже в двух соседних ротах одного и того же полка значительную разницу в системах обучения... Кому неизвестно, что с переменой командира части меняется нередко и вся система обучения, и немало найдется частей, в которых в течение 15—20 лет обучение стрельбе подлаживалось под более или менее сильные давления 4—5 систем ...На эту ненормальность обращено даже Высочайшее внимание».

Обращено внимание даже верховного Вождя армии, тем не менее анархия в стрельбе продолжается, по крайней мере наш автор в последнем издании своей книги (1911 года) настаивает на необходимости *при-*

каза, требующего однообразия в стрелковом обучении. При некоторой расшатанности высшей дисциплины возможно, что даже *приказа* будет в данном случае недостаточно, а потребуется проследить, исполняется ли этот приказ. Примеров постепенного забвения самых высоко-исходящих государственных актов можно бы указать сколько угодно. Несмотря на наличие целого ряда военных училищ, военных академий и даже стрелковых школ, у нас нет, если верить кап. Степанковскому, систематически разработанного пособия, которое давало бы легчайшие и вернейшие способы однообразного обучения стрелка. Потребность в пособии крайне настоятельная, а пособия нет как нет. «Не странно ли, спрашивает кап. Степанковский, что везде, где задаются целью подготовить хотя бы начального сельского учителя, от такого учителя требуют не только усвоения предметов, которым ему придется обучать в школе, но требуют еще и знания методики каждого предмета; *в наших же военно-учебных заведениях и самая стрелковая наука проходится в крайне неполном виде и совершенно игнорируется ознакомление с лучшими способами обучения стрельбе солдата*... У нас до сих пор нет и в помине никакой особенной методики стрельбы. Мы обучаем стрельбе так же, как обучаем грамоте, арифметике и вообще всему, чему прикажут, т. е. руководствуясь личными вкусами и усмотрением. Наша стрелковая методика основывается на особой, так сказать, ефрейторской системе, определяемой казарменным выражением «на глаз расстояния»...

Ужасные слова! Вникнув в них, вы начинаете понимать, почему наша армия в прошлую постыдную войну «стреляла плохо». Почем знать, стреляй она «хорошо» вместо «плохо», может быть, у наших генералов сложилось бы несколько более решительности среди сражений, и та мертвая точка, которая отделяет победу от поражения, была бы во многих случаях перейдена в сторону нашей победы. Но позвольте, господа, как же это так: современной армии великой державы стрелять «плохо»? В двадцатом-то веке, в веке изобретений, сменяющих друг друга с такою быстротою? В сущности, если из усовершенствованного оружия мы стреляем «плохо» и никакой методики не придерживаемся, кроме ефрейторского «на глаз расстояния», то не есть ли это самая верная страховка — не от поражения, а от какой-либо надежды на победу?

Наши фиговые блюстители бюрократического спокойствия об одном лишь дрожат: как бы какое-нибудь неблагополучие не попало на глаза начальству, особенно высшему. Боятся, видите ли, испортить пищеварение их высокопревосходительств. Но в результате этой фиговой системы утаивания своих непорядков, в результате накопления официальной лжи непорядки разрастаются в чудовищные, трудноизлечимые *пороки,* а такие пороки, как грех, влекут за собою Божее проклятие и смерть. В книге названного авторитетнейшего специалиста по стрельбе, как и в статьях «Вестника Офицерской стрелковой школы», меня особенно ужалило одно обстоятельство: после несчастной войны, где пехота стреляла плохо, — она за эти годы, по-видимому, не научилась стрелять лучше, ибо стрелковое дело у нас *падает* вместо того, чтобы подниматься. «В настоящее время, говорит тот же кап. Степанковский в *июньском* (№ 6) означенного стрелкового журнала, — *в настоящее время переживается период упадка хороших стрелковых традиций* и наблюдается это в тех частях, которые еще недавно были очень сильны ими. Офицеры старых стрелковых частей не могут не замечать и не чувствовать, как пошатнулись традиции, составлявшие силу и гордость наиболее боевых частей армии; они безусловно подпишутся под моими словами». В 1907 году стрелковый смотр показал, что из вызванных 12-ти рот всех полков 3-й стрелковой бригады ни одна не оказалась на высоте прежней нашей стрелковой славы. «Из рук вон плохи наши учебные команды, стреляющие сплошь да рядом хуже строевых рот и подготавливающие будущего унтер-офицера разве только к роли наблюдающего за сборкой и разборкой винтовки». Вот как мы готовим стрелковых инструкторов и их помощников! Само собою, *инструктором* стрельбы в роте является прежде всего ротный командир, но на практике он «начинает ознакомление со стрелковой наукой зачастую лишь со дня получения роты». Вместо того чтобы подыматься в военном деле, мы падаем: «даже в нынешних стрелковых частях любители и знатоки стрелкового дела попадаются все реже и реже...», говорит кап. Степанковский. О рядовом офицерстве и говорить нечего. *Сто «выдающихся» капитанов дают на двести шагов по призовой мишени меньший процент попадания, чем сто новобранцев после 4-х месячного обучения, т. е. не прошедшие еще*

курса стрельбы, стреляя к тому же при худших условиях (в шинелях да в снаряжении в присутствии высшего начальства, не зная боя винтовок, и т. п.).

Не поразительно ли все это? Когда этот ужасный факт был обнаружен, многие не хотели верить ему, пытались объяснить «старостью» капитанов: в 40 лет будто бы и глаз изменяет, и рука не так тверда. Это в 40-то лет у нас уже жалуются на старость! Однако, когда заменили капитанов штабс-капитанами, поручиками, подпоручиками, то *«вышло еще хуже»*...

Как же это, господа, так случилось, что душа армии — офицерство ее — стреляет еще хуже новобранцев, еще не прошедших курса стрельбы? А очень просто, как все на свете при всей таинственности совершается крайне просто: «В строевых ротах кадетских корпусов не идут далее ружейных приемов да хождения в ногу из классов в столовые, а в пехотных военных училищах более налегают на обучение верховой езде, чем на стрелковые занятия». Вот как просто объясняется плохая стрельба армии. Знаете, сколько уделяется часов на стрелковые занятия в военных, т. е. специальных, училищах? «Почти то же число часов, что и на изучение шашечных приемов». «На самую серьезную учебную работу, а именно — на практическую подготовку юнкера к роли строевого учителя, уделяется всего лишь *несколько часов* в течение года». «Кадетам строевых рот даются винтовки для ружейных приемов; даже до стрельбы дробинками доходит не во всех корпусах... *Всякое стремление кадета или юнкера к какому бы то ни было ружейному и вообще охотничьему спорту не только не поощряется, но всячески преследуется.* Поэтому среди воспитанников гражданских и даже духовных учебных заведений попадается несравненно больший процент начинающих охотников, чем среди кадетов и юнкеров».

Читаешь точно не про военную империю, когда-то имевшую великих полководцев, а как будто про Корею или Бирму, где офицеры ходят в халатах и с веерами вместо сабель...

Повторяю, тяжелое слово — анархия, но как не признать, что мы гибнем от нее по всем направлениям и что общий источник анархии нашей — школа. Погибает церковь, отравленная гнусной духовной школой, где вместо священников готовят «общеобразовательных» интеллигентов в рясах, глубоконевежественных,

что касается веры, и к вере совершенно равнодушных. Погибает великая армия Петра Первого, отравленная отвратительной военной школой, где учат множеству штатных наук, и где совсем пренебрегают стрельбой. То, что пехота плохо стреляла на войне и прострелял славу Отечества, это, видите ли, ничего; то, что искусство стрельбы постепенно падает в армии, это тоже ничего, — лишь бы на смотре показать «сверхотличную» стрельбу. Как это иногда достигается, об этом дан намек в начале настоящей статьи. Все это грустно, — говорит цитируемый автор. «Грустно потому, что приводит в унынье и в какое-то безнадежное спокойствие отчаяния тех стрелковых работников, которых эта борьба выбивает из колеи и утомляет»...

1914 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД

23 января 1914 г.

...Главное призвание русской национальной партии есть *защита русского племени,* как господствующего в России. Нас думают уязвить, называя иногда наш принцип зоологическим, — но зоология, господа, великая наука и пренебрегать ее выводами могут лишь невежды. Нет сомнения, что народность русская отвратительно устроена и в сверхзоологической жизни, почему национализм включает в свою область и всю гражданственность, и всю культуру народную. Но он включает в круг своего особенного внимания также и натуральные, чисто зоологические условия нашего племени на земле. Перестанемте, господа, обманывать себя и хитрить с действительностью! Неужели такие, чисто зоологические обстоятельства, как недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры у русского простонародья ничего не значат? Но они отражаются крайне выразительно на *захудании* человеческого типа в Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Именно зоологическая единица — русский человек во множестве мест охвачен измельчанием и вырождением, которое заставило на нашей памяти дважды понижать норму при приеме новобранцев на службу. Еще сто с небольшим лет назад самая высокорослая армия в Европе (суворовские «чудо-богатыри»),— теперешняя русская армия уже самая низкорослая, и ужасающий процент рекрутов приходится браковать для службы. Неужели этот «зоологический» факт ничего не значит? Неужели ничего не значит наша постыдная, нигде в свете не встречаемая детская смертность, при которой огромное большинство живой народной массы не доживает даже до трети человеческого века? Что бы ни кричали о нашем зоологическом национализме такие наследственные «друзья» нашего племени, как Евреи, Поляки, Финны, Армяне и т. п.,—

Мне кажется, пора русским людям самим немножко подумать о себе. За последнее полстолетие вполне сложилось начавшееся уже давно физическое изнеможение нашей когда-то могучей расы. Плохо обдуманная реформа раскрепощения крестьянства выпустила «на волю» десятки миллионов народа, предварительно обобранного, невежественного, нищего, не вооруженного культурой, и вот все кривые народного благосостояния резко пошли книзу. Малоземелье, ростовщический кредит у кулаков и мироедов, разливанное море пьянства, организованное одним оптимистическим ведомством под предлогом сокращения его, стремительный рост налогов, еще более стремительная распродажа национальных богатств в руки иностранцев и инородцев, — все это повело к упадку и духа народного, и физических сил его. Стоило народу лишь немного пошатнуться, как давление всех готовых обрушиться бедствий подтолкнуло падающего. Потянулся длинный ряд голодных лет и холерных и тифозных эпидемий. Они объясняются не только физическими причинами, но и психическим упадком расы, пониженной способностью бороться с бедствиями и одолевать их. Чем объяснить также дерзкое выступление инородцев в 1905 году? Вы скажете — культурным расцветом их,— но и самый-то расцвет и разрастание на теле русского народа враждебного ему инородчества говорит о захудалости русской расы. Паразиты заводятся охотнее всего на больном организме, потерявшем силу сопротивления им.

Я не хочу пугать читателей слишком мрачными пророчествами, но в самом деле положение русской народности *даже в зоологическом отношении* сделалось чрезвычайно неблагоприятным. Можем ли мы, скажите, стать на ту оптимистическую точку зрения, которая принадлежит некоторым известным государственным людям: «Не все ль равно, какое население в России — русское, немецкое, польское или жидовское? Лишь бы платили подати и давали возможность накоплять золотую наличность!» Мне кажется, — для чиновников, запамятовавших долг свой перед родиной, это может быть и «все равно», — но самому-то русскому народу это далеко не все равно, и разница тут такая же, как между жизнью и смертью. Вот главное призвание национальной партии: *оборона нации* — и не только от внешних врагов, а и от внутренних усло-

вий, слагающихся крайне неблагоприятно для державного племени. Национальная партия, конечно, есть политическая партия, ибо она пользуется участием в законодательстве для осуществления своих национальных целей. Но национальная партия сделала бы преступную и самоубийственную ошибку, если бы позволила увлечь себя в мелкое парламентское политиканство, в фракционную борьбу ради борьбы. Все силы нашей партии должны быть посвящены выработке общенационального органа — правительства, посредством которого народ вообще осуществляет то, что он может осуществить. Бесполезно тратить время на ничтожные и бесчисленные чисто хозяйственные распоряжения, выдаваемые у нас за законы, — когда не обеспечена даже зоологическая жизнь народная и ее бытие в будущем. И старый, и новый режим одинаково пренебрегают этим основным национальным вопросом: как выйти из положения, при котором государственное племя делается добычей когда-то покоренных им стихий? Исстари угнетаемый в пользу окраин великорусский центр являет признаки запустения и одичания. Навалив на свою спину «более культурных» инородцев и иностранцев, русский мужик потерял свое древнее богатырство, выродился, зачах. Как восстановить потерянное равновесие? Как создать в России для русского племени положение, действительно отвечающее его великим историческим трудам и жертвам?

Будем надеяться, что национальный съезд в кунсткамере всевозможных мелких политических вопросов не обойдет вниманием и этого исторического «слона».

ГНЕВ ГОСПОДЕН

25 января 1914 г.

Как мы готовились к великой войне 1904 года? Сегодня исполняется десять лет с момента «лихой» (по убеждению всего света) атаки японцев на наш дремавший на порт-артурском рейде флот, с момента начала той ужасной эпопеи, в которой России выпала столь невыразимо грустная роль. Больно, тяжко-больно вспоминать те дни, но что вы поделаете с памятью? Сколько ни отгоняйте неотвязчивые думы, они лезут в голову и терзают сердце... Кладите вашу голову под крыло, как страус, под подушку, под одеяло, никуда нельзя деться от стыда и раскаяния, от бесплодных мук и угрызений, — и это, я думаю, удел всей сколько-нибудь благородно мыслящей России.

На нас, так называемое «образованное общество», раздаются бесчисленные нарекания, часто очень справедливые: и мечтательны-то мы, и бездеятельны, и плохо несем долг свой — одушевлять народ и облагораживать правящий класс. Все это, может быть, и так, — мы во многом повинны, но зато мы же несем на себе и гнев Божий, как ни одно сословие в стране. Простонародье уже не помнит о прошлой войне многого, самого тяжкого и постыдного, ибо оно очень многого и тогда не знало и, может быть, никогда не узнает. У простонародья осталась общая стихийная тупая боль: «нас побили», осталось стихийно-государственное оскорбление, недоумевающее и удивленное. Как же это так случилось? С незапамятных времен все побеждали мы, и это вошло в привычку, в гордое самосознание, в царственное чувство, составляющее душу великого народа, — в сознание *непобедимости*. Непобедимость ведь и есть независимость, и иного определения народному великодержавию нет. Как же это так случилось, что солдаты наши распевали целое столетие —

Наша матушка Россия всему свету
голова!

— и вдруг какие-то неведомые японцы, говорят, будто бы даже макаки, а не люди, — расколотили чуть не десять раз подряд нашу могучую армию, взяли крепость, истребили флот, забрали в плен десятки тысяч русских и целые эскадры, наконец, выгнали нас из Маньчжурии и отобрали половину Сахалина? Простонародье знает эти общие итоги войны, а почти миллионная армия, вернувшаяся с войны с сотней тысяч убитых и изувеченных, внесла в народ живое и, так сказать, шкурное самочувствие войны. Как стихийное, оно мне кажется все же легче, чем понимание войны, основанное на ее многостороннем анализе. Все мы, образованная публика, — хотели бы или не хотели того, — целые годы изучали войну, жадно вбирая в себя все крупные и мелкие эпизоды ее, все освещаемые всемирной печатью тайны ее, — и в исторической, и в дипломатической, и в военной подготовке. В наш кристально прозрачный век, когда государственные тайны, сегодня напечатанные в Петербурге, завтра делаются какими-то путями известными в Берлине,— разве можно скрыть механику столь огромного дела, как война? Два миллиона живых существ $1^1/_2$ года были втянуты в столь глубоко запоминающуюся драму, как борьба не на жизнь, а на смерть. Кроме этих двух миллионов свидетелей, и победители, и побежденные офицеры и генералы приобрели на войне ничем не удержимую потребность бесконечно говорить о войне, — победители — чтобы хвастаться и восхвалять свой подвиг, побежденные — чтобы оправдываться и облегчить хоть немного могильную плиту позора, сразу на них надавившую. Весь этот крик и вопль, все эти стоны побежденных и хохот победителей затяжной бурей вторгались не в просто народное, а в наше образованное сознание, и нас именно измучивали больше, чем кого-либо. Конечно, и в правящем классе, среди так называемой бюрократии, есть глубоко впечатлительные и просвещенные люди, остро страдающие за родину. Такие входят в наш образованный слой и от него не отделимы. Но, *в общем,* бюрократия, как класс служебный, мне кажется, перенесла войну гораздо легче, чем интеллигенция. Разрозненное по бесчисленному множеству ведомств, департаментов, канцелярий, чиновничество вдохновлено не столько гражданским,

сколько корпоративным духом, и пока у них в департаменте нет катастрофы, им, естественно, представляется, что и с отечеством ничего особенного не случилось. Тяжелее всех война прошла по сознанию не служащих образованных обывателей, в которых все еще держится, благодаря некоторой независимости и осведомленности, непогасающий дух гражданский. В случае победоносной войны никто не был бы более счастлив, как мы, и зато именно на нас особенно сокрушительно легла тяжесть народного бесславия...

Как мы готовились к войне, сбросившей нас с мировой высоты на степень державы, с которою более не церемонятся? Японцы, сколько известно, готовились к войне *целое десятилетие,* с величайшим напряжением отстраивая флот и подготовляя армию втрое большую, чем у нас в Петербурге ожидали. У нас же как раз именно это десятилетие (1893—1903 гг.) всего ревностнее готовились к введению казенной винной монополии. Талантливейший из наших министров и почти диктатор той эпохи, владевший талисманом, звон которого всего убедительнее для многих, — С. Ю. Витте, — поражал широким размахом своих реформ. Некоторые из них были необходимы, но ни одна не выдавалась такою грандиозностью, как питейная реформа. У голодавшего государства нашлись сотни миллионов рублей для отстройки огромных складов, заводов, управлений, лавок, нашлись десятки миллионов рублей для крупных окладов, путем которых люди с университетским образованием привлекались даже к такой скромной службе, как оклейка бутылок бандеролями и закупорка их сургучом. По мелочам, господа, судите о величии идеи, вдохновлявшей тогда нашу государственность...

Вот что мне пишет один знакомый, которому много приходится разъезжать по России по делам службы, человек, в высшей степени достойный уважения: «Жаль, что гр. С. Ю. Витте теперь не заглянет внутрь России, он увидал бы плоды своих трудов... Ведь эти «форты», — казенные склады вина, разбросанные по всей Империи, не могли бы не броситься ему в глаза. Пейзаж обыкновенно такой: если это на юге России — местечко с белыми стенами одноэтажных домиков, убогая церковь, разваливающиеся заборы и сараи. А в центре местечка, близ базарной площади, красный, величественный «форт», прекрасно построенный на це-

менте. Высокий, аршин в пять высоты, забор закрывает грандиозные сараи. Рядом казенная винная лавка и масса валяющихся пробок. А в нескольких шагах— тела перепившихся обывателей местечка... Всюду одна и та же картина, — и в Малой Руси, и в Белой, и в Великой, и что еще ужаснее — на Дону, где за 1912 юбилейный год пропито 22 миллиона рублей»...

Пьяная Кастилия

Когда я прочел это письмо об «алкогольных фортах», гордо поднимающихся теперь над святою Русью, я почему-то вспомнил о Кастилии, благородной стране, получившей свое имя от множества рыцарских замков. Я вспомнил о каменных башнях и стенах, развалины которых доселе вы встречаете по всей Европе и отчасти в Азии. Я вспомнил о двух тысячах хлебных элеваторов, возвышающихся среди возделанных пустынь Канады. Я вспомнил о древних русских монастырях, соборах и храмах, которые ведь тоже были чем-то вроде кастильских замков. Как испанские рыцари постройкою каменных фортов постепенно оттесняли Мавров и освобождали свое отечество от арабского завоевания, так православные храмы с сияющими главами и благовестом с вершины башен постепенно завоевывали языческую Россию для христианской цивилизации. Они постепенно вводили гуманную культуру духа, потребность мира и благоволения, без которых невозможен труд и накопление материальных средств. Окиньте взором вашим всю человеческую историю, — вы увидите, что всякая эпоха характеризуется своими «фортами», воздвигаемыми на диком приволье природы. Наши древние города, т. е. огороженные валами и тыном центры власти и торговли, — они были теми же замками, акрополями, капитолиями, которые с незапамятных веков даровитые расы строили как опорные пункты государственности и культуры. Это были — смотря по степени богатства — земляные, деревянные или каменные *узлы*, в которых завязывалась ткань живого общества и где она, так сказать, пришивалась к территории. Величайшая из анархий, записанных в истории, — «великое переселение народов» — была укрощена именно средневековыми феодальными замками, и именно на них, как на непо-

движном скелете, наросло тело мирной гражданственности, — с промышленностью и торговлей, с науками и искусствами. Великие готические соборы и вот эти рыцарские замки недаром до сих пор волнуют каждую поэтическую душу: это в самом деле *священные*, достойные поклонения остатки культурной организации человечества. Осмеивайте аристократию и жреческий класс сколько вам угодно, но пока эти классы были истинные, не подмешанные, не поддельные, — они не назывались только, а и *были* благороднейшими из всех. Все, что возвышает нас над уровнем полуживотного варварства, все, что позволяет нам гордиться человечностью, ради которой стоит жить, — все это, уверяю вас, пошло от алтарей и тронов, хотя бы от скромных деревенских алтарей и баронских владетельных тронов. Если вы скажете, что *с повреждением аристократии и церкви* именно из тех же классов пошла всякая порча народная, всякий соблазн, всякое повреждение нравов и порабощение, — то я спорить против этого не буду; очень может быть, что это так, по я говорю не о фальшивых алтарях и не о фальшивых замках, а о том периоде, когда они были надлежащими.

Наше время имеет свои святыни и свои твердыни. Если хоть на секунду отрешиться от сковывающего старые общества лицемерия и спросить: какое мы чтим божество? Какую власть? То культурнейшие страны обязаны ответить: божество наше — знание, уважаемая власть — капитал. Вымирающие приверженцы старых культов свою любовь к ним выдают за веру. Они молятся еще Илье Пророку, но по части электричества верят Фарадею. Верят уже только в то, что способны узнать и *проверить*. Безропотно признают лишь ту стихийную власть, что слагается — как капитал — накоплением бесспорной силы. Сообразно с изменением веры и чести (в дурную или хорошую сторону — вопрос особый) изменились и общественные храмы и замки. В Америке, если вы в любом селении видите большое и красивое здание, — можете быть уверены, что это *школа*. И не только в Америке, а даже в Петербурге, на Невском, если вы увидите великолепный частный дом, то можете пари держать, что это *банк*. Наиболее грандиозные сооружения на окраине городов — это *фабрики* и *вокзалы*, — а если над горизонтом подымется исполинский силуэт, напоми-

нающий вавилонскую башню, то это, наверное, *элеватор*.

Вот форты современной, не слишком благочестивой, но и не слишком уж поганой цивилизации. Я лично всей душой и сердцем поклоняюсь неведомому Высшему существу, но именно как человек поколения, у которого любовь подменила веру. Для меня готические храмы и замки, сознаюсь, милее политехникумов и фабрик, — но все же я не отрицаю (*не осмеливаюсь отрицать*) — ни политехникумов, ни фабрик, как это делал неукротимый Лев Толстой. Не чувствуя в себе страстной гордости этого несколько анархического ума, я полагаю, что человеческий род нащупывает свою дорогу и нечаянно отыскивает выходы. И школа, если бы поставить ее на должную высоту, необыкновенно много включает в себе религиозного. И такие учреждения, как фабрики, организующие труд народный, весьма почтенны, если основаны не на хищнических началах. И самая сомнительная из твердынь — банки в руках честных людей способны оказывать серьезнейшие культурные услуги. Ведь какое бы вы ни придумали широкое техническое предприятие — новую сеть железных дорог, тоннель, орошение, рудники и т. п., — прежде всего нужно *финансировать* их, добыть откуда-то силу, приводящую труд в движение. Стало быть, даже такие форты современной цивилизации, как банки, при отсутствии мошенничества в них примиряют с собой. Но что вы скажете о «лучшем создании человеческого рода» — об *алкогольных фортах?* Даже в честнейших руках и при условии химически чистого продукта какова окончательная цель этих великолепных сооружений, осеняющих теперь территорию старой «Святой Руси»?

С глубокой благодарностью прочел я о поправке князя Д. П. Голицына-Муравлина, внесенной им от имени 33 членов Гос. Совета и принятой этою законодательной палатой. Названной поправкой воспрещена продажа крепких напитков в буфетах правительственных учреждений и присутственных мест, общественных садов и гуляний, театров, концертов, катков, выставок и т. п. Облагороженению русского общества этим положено прочное начало. Горжусь тем, что инициатива этого превосходного закона (ст. 23[1]) принадлежит в лице князя Голицына-Муравлина русско-

му литератору, правда, давно уже посвятившему выдающийся талант свой борьбе с одичанием русского культурного общества. Из речи князя в Г. Совете, основанной на статистике пьянства, вы узнаете, что «в России за 18 лет замерзло 22 150 человек» (чаще всего замерзают зимою пьяные), а «умерло от алкоголизма за это время 84 217 человек». Следовательно, не будет преувеличением счесть, что за 18 лет Россия благодаря «фортам пьянства» теряет около 100 тысяч жизней, т. е. по крайней мере вчетверо больше, чем за тот же период Россия теряет (в средних числах) от войн. А пропито было за тот же период народного достояния много больше 10 миллиардов, которых хватило бы на полдюжины больших войн. Прибавьте к этой статистике неизмеримо более огромное количество людей, не совсем замерзших от пьянства, а только отморозивших себе конечности, не совсем опившихся водкой, а только расстроивших себе здоровье до непоправимости. Прибавьте к пропитому богатству бесчисленные миллионы потерянных рабочих дней, а с ними богатство, которое могло бы быть заработано. Прибавьте не поддающиеся исчислению случаи в пьяном виде насилий, оскорблений, драк, увечий, преступлений и проступков, порчи домашнего и общественного имущества и т. п. и т. п.

О, эти величественные алкогольные форты! О, эта пьяная Кастилия, в которую постепенно превращается когда-то осененная храмами православная «Святая Русь»! Когда вспомнишь, что целое десятилетие — и именно то, в которое японцы готовились к войне, — мы потратили на отстройку гигантских монопольных фортов, — сердце сожмется и невольно почувствуешь, что есть гнев Господен и что воистину «Бог поругаем не бывает». Что же в самом деле православной Империи хвалиться своим благочестием, служить молебны и так далее, — если на деле, — не в теории, а на практике, — мы всю страну покрыли каменною сетью совсем не христианских учреждений, совсем не нравственных, совсем не культурных, а противных всякой религии, нравственности и культуре! Мы, образованное общество, давно видим это, давно стонем и вопием, — и наконец-то многие благородные деятели из правящего класса почувствовали всю пучину пьяного зла. На мое замечание в разговоре с одним государственным человеком, что пора же серьезно взяться за

народное отрезвление, он грустно сказал: «Не поздно ли?»

Плохо мы готовились к страшному суду истории — и потерпели заслуженную кару. Но неужели подобная же подготовка пойдет и далее? Неужели очагами нашей цивилизации останутся величественные форты питейного ведомства? Неужели около них должна завиться та национальная культура, которая когда-то завивалась около алтарей и феодальных тронов? Неужели от погашения духа народного и отравления тел явится спасение России?

ИСТИННО КУЛЬТУРНОЕ ВЕДОМСТВО

30 января 1914 г.

Могучее русское царство в глазах европейцев — целый мир по пространству и населению, мир неустроенный и исторически расстроенный, а потому отличающийся всеми качествами отсталых стран. Обилие натуральных богатств при экономической беспомощности населения и беспечности культурного класса притягивает иностранцев в Россию так же неудержимо, как когда-то тянули Америка, Африка, Индия, Китай. Предпринимательская энергия и капитал ищут работы по всему свету, и для немцев, ближайших наших соседей, Россия, естественно, наиболее интересна как колония. В нынешнем году немецкие колонисты нашего юга хотят праздновать 150-летний юбилей немецкой колонизации у нас. Вопрос этот в его целом составляет настоящую драму отношений между Германией и Россией. Сто пятьдесят лет назад и позже Германия была раздробленною и слабою страною, очень бедною. Сельскохозяйственная культура ее и промышленность все еще не могли оправиться от разгрома их в Тридцатилетнюю войну. Немцам часто нечего было есть на родине. Они охотно искали себе отечества и за океаном, и в соседней варварской стране, где им оказывался со времен Петра Великого и Бирона всевозможный почет. Немецкая эмиграция в Россию, поощряемая русским правительством, шла довольно широко, но без политических целей. Екатерина, Павел и в особенности Александр I считались благодетелями Германии; они и были таковыми, пожалуй, даже в большей степени, чем современные им Габсбурги и Гогенцоллерны, малоспособные защищать свои государства от французов. До чего невысоко стояло немецкое могущество еще в 1846 году, показывает характерная фраза Гоголя в его «Напутствии» («Выбранные места из переписки с друзьями»): «Не

велика слава для Русского сразиться с миролюбивым Немцем, когда знаешь наперед, что он побежит; нет, с Черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с Черкесом схватиться и победить его — вот слава, которою можно похвалиться!»

Казалось бы, давно ли это было? Всего 67 лет, а сколько воды утекло и с нею сколько исчезло громких репутаций, и сколько возникло новых, может быть, тоже преувеличенных. Продолжая быть благодетельницей Германии и при Александре II, Россия содействовала всем могуществом своим (угрожая Австрии) разгрому Французской империи и объединению Германии в одну грозную державу. Начался второй период немецких колонизационных планов. Хотя Россия неожиданно обнаружила свою военную отсталость и в Крымскую, и в Балканскую войну 1877 года, — но она все еще казалась для пруссаков непобедимой державой, с которою самая мудрая политика — дружить, а никак не ссориться. Правда, германские шовинисты уже тогда начали кричать о необходимости разгрома России, о раздроблении ее на несколько царств, наконец, о полном завоевании ее, вроде того, как англичане завладели Индией, — но правительство германское, ответственное пред историей, не увлеклось этими взглядами. «Будущее Германии на морях», — решил император Вильгельм. Германской эмиграции начал подготовляться другой исход — не в Америку, и не в Россию, а по линиям наименьших сопротивлений — на Балканский полуостров, в Малую Азию и в африканские колонии немцев. Подошли, однако, две неожиданности: Германия развила такую громадную промышленность, что нашла применение избытка рабочих сил у себя дома, — Россия же была разгромлена на Дальнем Востоке с решительностью, о которой и мечтать не смели наши враги. Тогда снова оживились планы завоевания немцами России по примеру их остготских предков полторы тысячи лет назад. Ослабевшая, раздираемая внутренним междоусобием великая славянская империя начала казаться немцам естественным продолжением славянской территории, уже захваченной тевтонами. Славянство — не более как Düngervolk *, — простая подстилка для германской расы. В настоящий момент

* Дерьмовый народ *(нем.)*.

затруднительно сказать: против кого собственно Германия ведет поспешные и гигантские вооружения: против ли Франции и Англии или преимущественно против России. Может быть, колоссальный флот Германии предназначен только для того, чтобы защитить свой тыл от Англии, подобно тому, как обширный крепостной район на западной границе Германии приведен в неприступное состояние лишь для обороны тыла, дабы иметь возможность три четверти сил бросить к Востоку. Не будь японской войны с ее результатами, быть может, Германия осталась бы при прежнем лозунге Deutschland's Zukunft'a *, но кто поручится за то, какой психологический переворот вызвало в соперниках наших и врагах поражение столь безмерного могущества, каким считалась Россия?

Говорят: современная цивилизация не допускает широких завоевательных планов. Никому не придет в голову покорять для чего-то весь мир. Нынче все поглощены идеей честного производительного труда и мирным состязанием рас. Мне кажется, мнение это столь же неверно, сколько сентиментально. Нынешняя цивилизация еще недавно имела своего Цезаря — Наполеона. Ему нельзя было отказать в гениальной ясности ума, но ведь окончательной его целью было завоевание мира. И греческая, и римская цивилизации были во многом гораздо тоньше нашей, но мечта о мировой империи от времен Александра Македонского до Трояна не покидала Запад. И монгольские, и германские варвары, как бы преследуя ту же идею, целые столетия блуждали по поверхности старого материка, — бессознательно сметали царства одно за другим. Культурнейшая Англия постепенно завоевала четверть земного шара. На наших глазах сильные народы поделили Африку, как простую находку, найденную на дороге. Можно ли поручиться, повторяю, чтобы при подходящих условиях национальная сила, почувствовавшая *обеспеченность* победы, не использовала для себя столь редкий шанс? Германцы, конечно, не гунны, их завоевание явится на манер габсбургского — с соблюдением кое-каких прав покоренных народностей, — но даже простая гегемония настолько соблазнительна, что за нее велись в истории кровопролитнейшие войны. При неизбежном и скором стол-

* Будущее Германии *(нем.)*.

кновении двух коалиций, разделяющих теперь Европу, Германия, естественно, подготовляет себе победу, и, может быть, этим следует объяснить катастрофическую решимость ее поднимать свои вооруженные силы до пределов возможности...

Все, казалось бы, слагается благоприятно для немецких планов, но вот какое явилось нечаянное осложнение. *Россия не только разлагается,* но в некоторых отношениях и *оживает*. Семь лет назад Россия предприняла великую аграрную реформу, и из нее выходит толк. Судя по всему, что немцы наблюдают в России, русская народная масса коренным образом перестраивается, выходит из крепостных отношений к одичавшей общине и становится на общекультурный путь. Если все пойдет тем же ходом и дальше, то лет через пятнадцать Россию нельзя будет узнать. Территория будет связана с народом посредством организованного труда, основанного на единоличной собственности. Впервые после многих столетий русскому народу будут возвращены те естественные условия свободы и полной собственности, при которых европейцы колонизовали и Европу, и заокеанские земли, создав цветущие государства. Но ведь это значит ни более ни менее как то, что и Россия сделается в ближайшем будущем таким же цветущим государством? Столь же культурным, столь же богатым, как Европа и Америка? *Очень на это похоже,* если только великая аграрная реформа у нас не будет скомкана и брошена недоконченной. Но ведь это уже совсем меняет дело. Предположить Россию культурной в народных массах — это будет уже не великая держава, а трижды великая, ибо по населению своему она и теперь равняется почти трем Германиям, сложенным вместе. Тогда все мечты о России, как ближайшей колонии для германской расы, придется оставить. Россия явится уже не колонией, а сама — великим колонизатором, способным превращать пустыни в цветущие поля. Тогда Германии придется снова отыскивать свое будущее на водах...

Мне кажется, землеустроительная реформа в России недаром отмечается на Западе как «одна из величайших социальных реформ, когда-либо бывших», и недаром ею так заинтересовались не только в Германии, но и во Франции и в Америке. Если Бог даст сил и здоровья А. В. Кривошеину, блистательно веду-

щему это громадное национальное дело, то, может быть, спасительный подъем России начнется именно с этой стороны. Когда народ будет поставлен в правильные отношения к земле, тогда только и начнется русская цивилизация в серьезном смысле. Тогда только труд народный и разовьет все свои неисчерпаемые возможности. Только тогда начнет накапливаться народный капитал во всех отношениях, включая знание и талант. Оздоровленный народ создаст и более здоровую государственность, которая будет способна сорганизовать силы нации для всегда победоносной обороны. Вместе с победами на всех поприщах — в том числе и на военном — вернется к нам и как будто потерянное уважение в человечестве. Ничто не дается даром, всякое преимущество требует громадной затраты сил, притом — производительной затраты. Остается пожелать, чтобы около одного истинно культурного ведомства учились у нас работать и другие, менее налаженные...

ДЕЛО НАЦИИ

2 февраля 1914 г.

Весь народ национален и даже все русское общество, если выкинуть из него озлобленную часть инородцев. Говорю об *озлобленной* части, ибо другая, не озлобленная, а добродушная часть инородцев уже охвачена русскою стихией, пропитана ею, как сардинки маслом, и входит в состав русской нации. О немцах нечего и говорить: между ними столько «кровавых» русских патриотов, что это просится даже в пословицу. Но разве вам не случалось встречать даже поляков, настолько обрусевших, что им тяжело носить польскую фамилию? А что вы скажете о г. Гольтисоне? Это чистокровнейший еврей, и тем не менее страстный композитор русского *церковного* пения и, как говорят, большой русский патриот.

Что такое Россия, что такое наша национальная идея — об этом многие имеют смутное понятие. Не ясно это и почтенному барону Розену, превосходную речь которого на днях в Гос. Совете следовало бы прочесть всем, кто любит Россию. Одно лишь в этой речи показалось мне загадочным: о каком «воинствующем национализме» в России говорит он, и с таким негодованием? По-видимому, о русском национализме, но если так, это *совершенно неверно*. Есть у нас воинствующие национализмы, но они не русские, а инородческие. Я говорю о евреях, поляках, финнах, латышах, армянах, татарах и пр. и пр., которые, вообще говоря, живут и трудятся довольно мирно, — но уже выделили из себя весьма заметные и очень вредные, вроде мазепинцев, сословия, ненавидящие Россию. *Они* воинствуют против России, а не *мы* против них. Наш русский национализм, как я понимаю его, вовсе не *воинствующий*, а только *оборонительный*, и путать это никак не следует. Мы, русские, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, — но вот уда-

рил один гром небесный за другим, и мы проснулись и увидели себя в осаде — и извне, и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но и господство над нами, причем наградою за подчинение наше служит их презрение и злоба против всего русского. Откройте глаза, почтенный барон, и вы увидите, что это явление существует, и, стало быть, с ним нужно считаться.

Я имею право говорить о русском чувстве, наблюдая собственное сердце. Мне лично всегда было противным угнетение инородцев, насильственная их руссификация, подавление их национальности и т. п. Я уже много раз писал, что считаю вполне справедливым, чтобы каждый вполне определившийся народ, как, например, финны, поляки, армяне и т. д., имели *на своих исторических территориях* все права, какие сами пожелают, вплоть хотя бы до полного их отделения. Но совсем другое дело, если они захватывают хозяйские права на *нашей исторической территории.* Тут я кричу, сколько у меня есть сил, — долой пришельцев! Если они хотят оставаться евреями, поляками, латышами и т. д. на *нашем* народном теле, то долой их, и чем скорее, тем лучше. Никакой живой организм не терпит инородных тел: последние должны быть или переварены, или выброшены. Это, уважаемый барон, называется не нападением, а обороной, спросите кого хотите. А раз решена оборона, она должна вестись с несокрушимой энергией — до полного изгнания «двунадесяти языц» из России.

С тех пор как свет стоит, держится такое понятие о государстве: оно может быть или чистого, или смешанного состава, но в одном государстве должна жить одна нация. Так, имеются смешанные нации швейцарская, американская и др. Государства, резко отступающие от этого начала, или постепенно рушатся, как рухнуло множество пестрых царств, или близки к государственному крушению, как Турция и Австрия. Нам, националистам, вовсе нежелательно, чтобы империя русская охвачена была племенным раздором, свирепствующим в Австро-Венгрии, и чтобы в итоге векового национального разлада был государственный развал. Вот почему, допуская иноплеменников, как *иностранцев,* с правами иностранцев, пока они не будут достаточно натурализованы, — мы вовсе не хотим

быть подстилкою для целого рода маленьких национальностей, желающих на нашем теле размножаться и захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого, но наша — русская земля — должна быть нашей. Иначе инородное вселение является инфекцией; размножение микроплемен ведет и гигантское племя к государственной смерти. Это вовсе не воинственность, а инстинкт самосохранения.

Конечно, нам, русским, не легко живется под облепившей нас иноземщиной, но ведь и им не так уж сладко отстаивать свою расовую индивидуальность. Тело, пораженное инфекцией, бессознательно борется с ней, поедает враждебных микробов, переваривает их без остатка. Мучители обречены одновременно и на мученичество, и единственно, в чем они находят спасение, это в своей национальной смерти. Драма ассимиляции оканчивается в тот момент, когда инородец совсем уже чувствует себя русским, и таких очень много. Вчера мне довелось быть на концерте Н. Н. Собиновой-Вирязовой, которую я уже как-то видел на одном концерте М. И. Долиной. Тогда я восхищен был ею в необычайной степени. Мало сказать: «восхищен», — я просто ослеплен был этой как бы хлынувшей со сцены красотой русской женщины, поэзией русской песни, русской грацией, русской душою во всех ее тончайших, родных мне переживаниях. Нечто новое и чудесное, что хотелось бы видеть и слышать без конца. При том, заметьте, и голос не то чтобы большой у г-жи Собиновой, и красота ее вовсе не волшебная, если вглядеться в нее, и песни, и танцы ее — самые общеизвестные, но что захватывает неотразимо меня, по крайней мере, это что-то *родное*, русское, свое, заветное, для чего жить хочется. К сожалению, концерт вышел непомерно длинный, и Н. Н. Собиновой приходилось слишком уж много раз выходить на сцену, — а хорошенького непременно должно быть понемножку, иначе количество профанирует качество. Тем не менее в начале вечера я просто млел от наслаждения и даже записал на афише следующее: «Конечно, Вирязова-Собинова сделала для национальной идеи больше, чем вся наша национальная партия, ибо она заставила тысячи и тысячи людей *полюбить* Россию. И своих, и чужих она заставила почувствовать душу русскую и ту особенную высокую красоту ее, которая таится в каждой *законченной* националь-

ности». Да, вот все эти скромные артисты — Андреев со своею балалайкой, несравненная Плевицкая и эта новая чаровница Собинова — они без всяких программ, без съездов и докладов, «без заранее обдуманного намерения» довершают культуру русскую, доводят национальность нашу до предела поэтической законченности, до *красоты*. А в красоте и истина, и добро, и все божественное, что нам доступно. О, эти девичьи песни — с их упоением, с стыдливою молодою страстью, о, эти нежные и томные движения, в которых дышит все здоровое и чистое, что нажил наш народ за тысячелетия под родным солнцем!.. Все это так чудесно, что даже жаль видеть это на сцене. Кто хочет почувствовать, что такое Россия в ее мировом призвании, как особая душа народная, пусть посмотрит две-три песни Собиновой (этот новый жанр — соединение песни с танцами — нужно *смотреть*). Айседора Дункан не прошла в России бесследно. В лице босоножки Собиновой, резво поющей и кокетливо пляшущей, мы имеем нашу древнюю еще языческую «дивью красоту», которую напрасно разгадывают ученые.

Но к чему я веду речь? Не для рецензии же концертной. А веду я речь к изумительному для меня открытию. Эта чудная русская артистка, вобравшая в себе все чары и тайны русской души народной, оказывается... датчанкой! Да-с, полукровной датчанкой, родною внучкой великого Андерсена, сказками которого мы упивались в детстве. Как вам это нравится? Всего в одно лишь поколение так переродиться в России, сразу принять и тело русское — типическое для средней Великороссии, и вместе с телом все инстинкты, все предчувствия души, все повадки, чисто стихийные, доведенные до высшей грации... Это просто чудо какое-то. Впрочем, я знаю одного англичанина до такой степени ярославской наружности, страстного балалаечника и любителя русской песни, что английская фамилия так же идет к нему, как если бы Василия Блаженного назвать киркой. Вот вам иллюстрация нашей национальной *силы*. И вне политики мы боремся за свое существование, и даже вне политики одолеваем, пожалуй, больше, чем всею ослабевшею донельзя государственностью. На том же концерте играл очень хороший великорусский оркестр балалаечников под управлением... *Е. Р. фон Левена*. Пел арию мельника из «Русалки» артист русской оперы *Н. А.*

Ленц... Эти, очевидно, тоже переварены русской поэзией начисто. А те, непереваренные еще или полупереваренные, что поминутно мелькали в публике и на сцене, — их было жаль. Должно быть больно терять свою расовую индивидуальность, но когда превращение кончилось, с чужой душой делается то же, что с душою Руси. «Твой дом будет моим домом, твой Бог — моим Богом».

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ

10 февраля 1914 г.

Передо мной лежат два новых, роскошно иллюстрированных журнала. Одному имя — «Столица и Усадьба», другому — «Армия и Флот». Между ними та связь, что столица и усадьба, как главные очаги цивилизации, не могут существовать без могучей защиты армии и флота; в свою очередь и армия, и флот не могут существовать без хорошо организованной столицы и усадьбы. Столица — общая колыбель государственного сознания и направляющей народ воли. Усадьба — колыбель тех *героев,* пехотных офицеров и моряков, которые во главе воспитанного около усадьбы героического народа клали в течение веков камень за камнем, т. е. победу за победой, воздвигая величавое здание государственности. Между названными журналами есть кровное родство, дающее право поговорить о них как об одном явлении. Оба журнала издаются сравнительно молодыми талантливыми людьми, что обеспечивает им успех.

Посылая мне первый № «Столицы и Усадьбы», В. П. Крымов благодарил меня за мысль издавать орган красивой жизни. Я не мог припомнить, когда и где я подал эту любопытную мысль, но мне указали мою статью от 15 сентября прошлого года («Заветы прошлого»). Действительно, в этой статье, оплакивающей гибель дворянской культуры, имеются такие строки: «В стиле «Старых годов» *, спасающих вещественные остатки дворянской культуры от великого кораблекрушения, следовало бы основать особый журнал для собирания *духовных остатков,* тех человеческих документов, что свидетельствуют о моральной роскоши старого общества... Ради вечной памяти всему доброму и

* Это тоже прекрасный художественный журнал, но ежемесячный — для любителей искусства и старины.

прекрасному следовало бы основать особый журнал, перепечатывающий то, что говорилось когда-то от имени *хорошей* культуры духа...»

В. П. Крымов — чем я очень польщен — заметил эту мысль, но сильно ее «усовершенствовал», и даже до неузнаваемости. Он ищет красивой жизни не только в прошлом, но и в настоящем, и в жизни не только моральной красоты, но и всякой другой, без излишне-строгого разбора. В таком виде идея журнала принадлежит уже целиком В. П. Крымову, и я ни на какую часть в этом отношении не претендую. Сама по себе, рассуждая эклектически, мысль такого журнала хороша, если строго придерживаться красоты и не изменять ей. Красота, к глубокому позору человечества, очень часто проституируется, ее используют иногда для дурных и безобразных целей, — но *сама по себе*, an und für sich *, как говорят немецкие философы, красота всегда есть нечто божественное и священное, чему подобает самое искреннее и вечное наше поклонение.

...

Журнал В. П. Крымова, вероятно, производит сенсацию, но едва ли среди серьезных любителей красивой культуры. Конечно, на первых порах приходится довольствоваться несколько сборным и пестрым материалом, а потому не следует быть очень строгим, — но дальнейшие выпуски желательно бы видеть поближе к первоначальному замыслу. Красивая жизнь — великое дело; едва ли есть страна в большей степени, чем Россия, нуждающаяся в том, чтобы укреплять в себе среди скифской дичи и глуши начала великих цивилизаций, начала вкуса и изящества во всем, начала законченности и сдержанности, которых не признает вульгарный цинизм. О красивой жизни мечтает не один народ наш, но и заметно одичавшее общество. «Красота спасет мир», — говорил Достоевский, достаточно настрадавшийся от безобразия русской действительности. Но служение красоте, как служенье муз — «не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». Размениваясь на мелочи и отзываясь на жаждущее рекламы тщеславие, талантливый редактор «Столицы и Усадьбы» рискует многое красивое подменить сомнительным.

---

* Сама по себе *(нем.)*.

Того же формата, на такой же бумаге и со столь же роскошными иллюстрациями выходит и второй двухнедельник — «Армия и Флот» А. Д. Далматова. И тут наряду с внешней роскошью много неприбранного и торопливого, что объясняется первым дебютом. Первый номер журнала открывается очень наивною статьею г. К. Дружинина. Почтенный автор пытается переложить вину наших поражений на Востоке с генералов на штатских людей. «Отсутствие воинского духа и всякой воинственности в среде русского народа и в верхах его интеллигенции, вызвавшее полный индифферентизм России к несчастной судьбе действовавшей на Дальнем Востоке ее военной силы, и было главнейшею причиною ее неудачи и бесславного мира». Конечно, это вздор, притом явно оскорбительный для России. Не «полный индифферентизм» переживала тогда наша родина, следя за целым рядом поражений своей когда-то непобедимой армии, а *жгучие страдания,* заставлявшие многих тогда стонать от боли, и плакать, и колотиться головой об стену. Нашим неудачным генералам легко теперь сваливать вину с больной головы на здоровую, но кто же им поверит хотя бы на минуту, что в среде русского народа замечается отсутствие воинского духа и *всякой* воинственности? Когда были Суворовы, Кутузовы, Багратионы — русская армия заставляла дрожать Европу и Азию, а ведь она была набрана из того же народа, будто бы лишенного *всякой* воинственности. Когда же во главе армии появились генералы милютинской школы, армия не выиграла, точно на смех, ни одной победы. «А теперь говорим смело, — заявляет г. Дружинин, — стоит только русскому народу во главе со своею интеллигенцией, т. е. с тем, что мы называем обществом, постигнуть необходимость жить интересами армии и флота, заботиться о них, готовить для них настоящий боевой материал, — и никакие вооруженные силы наших вероятных противников не могут быть страшны России».

Боже, как это не умно! Г. Дружинин рекомендует не военному ведомству, а нам — русскому народу и обществу, т. е. крестьянам, помещикам, купцам, священникам и пр. и пр., «жить интересами армии и флота» (точно у нас никаких своих интересов и заня-

тий нет), «готовить для них настоящий боевой материал». Но позвольте, — как же это какой-нибудь профессор зоологии, или писатель, или садовод будет готовить *настоящий* боевой материал для армии и флота? Это дело правительства, и в частности — военного министра. Перед войной таким министром был генерал А. Н. Куропаткин, который имел шесть лет для подготовки «настоящего боевого материала». При чем же тут отсутствие «всякой воинственности» у общества и народа?

Со времен Милютина, который сам гордился своим писательством и поощрял писательство среди военных, и армия, и флот выдвинули множество пишущих людей; между ними были и есть талантливые. Нет сомнения, что сотрудников у А. Д. Далматова найдется очень много, гораздо больше, чем в состоянии вместить один журнал. Поэтому между ними следует делать тщательный выбор. Хотя у нас уже есть целый ряд журналов, обслуживающих интересы армии и флота, но и еще один нелишне иметь. Но каждый новый журнал должен быть непременно лучше прежних или пополнять пробел между ними, иначе существование его ничем не объяснимо.

По своей изящной внешности, по обилию прекрасных иллюстраций «Армия и Флот», конечно, выше всех военных изданий, — и если издатели хотели заинтересовать невоенное общество, то цель эта будет достигнута. Журнал по содержанию общедоступен, он легко читается и просматривается. Но самая идея издавать военно-морской журнал для невоенных и для неморяков мне представляется сомнительной. Я не знаю, на какой предмет помещику изучать минное дело или скотоводу — артиллерию. У каждого обывателя, занимающегося каким-либо серьезным трудом, есть своя специальная литература, за которой он должен следить: помещик — по сельскому хозяйству, скотовод — по скотоводству и т. д. В России, правда, есть обычай интересоваться иногда всем на свете, кроме собственного ремесла, — но дальше верхоглядства это ни к чему не ведет. Если скажут, что пора политически мыслящему обществу знакомиться с такими важными сторонами государственности, как армия и флот, и знакомиться не из одних газет, то я спорить с этим не буду. Но много ли у нас людей, серьезно увлеченных политикой? Мне кажется, современный воен-

ный журнал должен поменьше иметь в виду штатскую публику и побольше — военную. Бросьте, господа, насаждать воинственность в штатской публике — озаботьтесь, чтобы воинственной была армия, — и этого за глаза будет достаточно. Мы, как народ, принадлежим уже от рождения к мужественной расе. Храбрость русского народа на протяжении тысячелетия засвидетельствована в тысяче сражений. Наконец, мы вовсе не равнодушны к армии и флоту. Наоборот, пока они были победоносными, то были нашими народными идолами, наиболее любимыми, пред которыми мы не жалели никаких курений. Последние войны — и особенно та, бесславная, о которой вспоминать не хочется, — конечно, пошатнули это идолопоклонство, и прежнего обаяния у нас уже нет. Но обаяние — вещь тонкая, оно создается и исчезает помимо воли. Как влюбленность, восхищения к военной среде не подскажешь и не внушишь. Нужно ждать новых победоносных войн — и только они в состоянии вернуть ореол армии и флоту. Никогда, до последнего своего вздоха, великий народ, каков русский, не помирится с поражением его, и пока клеймо это не снято с него, он будет глядеть на родное детище свое — армию и флот — иначе, чем смотрел прежде. Пусть вы, военные, молодцы из молодцов, пусть вы внушаете большие надежды, но... оправдайте же их! *Дайте победу* — и тогда не будет границ нашей благодарности. не будет предела восторга и поклонения пред вами!

Вы скажете: для победы нужна моральная поддержка. Да. Она и есть. Она всегда есть и была в последнюю войну, как во времена суворовских походов. Моральною поддержкой на войне служат не громкие фразы и не дутые похвалы, оскорбительные, если они не заслужены. Моральною поддержкой воина служит бодрствующий в нем дух народный, вера в родного Бога, глубокая жалость к родине, решимость умереть за нее. Моральною поддержкой воина служит гордость народная и государственная честь, которую чувствует каждый солдат, если армия не деморализована своими собственными начальниками. В них-то вся и суть. С тех пор как свет стоит, считалась истинной военная аксиома: «лучше армия баранов под предводительством льва, чем армия львов под руководством барана». Эта банальная истина записана во все учебники военного дела и входит даже в прописи. Ужас-

но подумать, если наша армия и наш флот станут искать внушений не в собственном мужестве, а в воинственности нас, штатских обывателей...

В журнале А. Д. Далматова (пока вышло два номера) имеются очень содержательные статьи и заметки (особенно хорош морской отдел), и мне не раз, вероятно, придется знакомить читателя с выдающимися статьями этого органа. Пока он еще в зачатии — хотя весьма бодром и жизненном — остается пожелать ему блистательного успеха. Успех непременно и будет достигнут, если молодой журнал взглянет на себя как на продолжение офицерской школы. Нельзя оставаться в области элементарного и повторять зады, — нельзя, с другой стороны, и вдаваться в техническую ученость. В военном деле, как во всяком, есть нечто высшее науки — именно искусство. Научиться, вообще говоря, ничему не трудно, но *внедрить* в себя искусство владеть этим научением — вот в чем весь вопрос. Я не сторонник милютинского метода — изучать войну через бумагу. Несравненной и ничем незаменимой школой для войны навсегда останется не академия, а война. Но за отсутствием войны следует учиться ей как и где доступно. Если военный журнал не философствует и не впадает в публицистику, если он не подлаживается к начальству и не рекламирует тех и этих, если он с умом и талантом передает только факты и факты, обсуждая их в условиях боевой обстановки, — то такой журнал очень поучителен для офицерства и очень полезен. Военное сословие нужно держать в особой атмосфере, насыщенной мыслью о войне, страстью к войне, опытом войны, поэзией войны, религией войны. Если роскошный по внешности журнал А. Д. Далматова разовьется в своего рода военно-электрическую станцию, способную своей энергией военного чувства заражать и возбуждать военный наш мир, — это будет большая заслуга перед Россией.

Всуе строить столицы и усадьбы, всуе мечтать о высокой культуре народной и человеческом счастье, если все это в грозный день Господен, в день войны,— нельзя отстоять с победою и славой...

ВОЙНА И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

15 февраля 1914 г.

Две грустные сенсации в Петербурге — великосветский бал, где дамы явились с синими, зелеными, оранжевыми и розовыми волосами, и статья г. Борисова в «Русском Инвалиде» (№ 29). Никто не ожидал столь блестящей победы футуризма в кругу, который имеет претензию быть оазисом вкуса и хорошего тона. Никто не ожидал, чтобы почтенная редакция «Русского Инвалида», обыкновенно затушевывающая прорехи военного ведомства, вдруг выскажется правдивой и по своему значению оглушительной диатрибой. Между двумя сенсациями, по-видимому, нет связи, но философам ничего не стоит установить эту связь, если вспомнить, что все нелепости и все ужасы на свете идут от одной причины: Quos vult perdere Jupiter dementat *. Мы все говорим о здравом смысле, как будто это благо навсегда обеспечено и мужчинам, и дамам, — но опыт истории это опровергает. После удивительных подъемов гения, составляющих торжество здравого смысла, умственная сила общества падает, и часто в той же поразительной степени. Горе народам, которых великие испытания застают в период плачевного декаданса!..

Оставив блестящих дам побеждать сердца синею и зеленою прической, — коснемся статьи г. Борисова, бросающей на основании японских источников новый и яркий свет на наши поражения на Дальнем Востоке. В недавней статье г. Эль-Эса уже была разобрана военная сторона ужасного открытия, сообщенного г. Борисовым, — я позволю себе разобрать тот же факт, но психологически. Факт, как известно, тот, что по крайней мере в *семи* сражениях (Вафангоу, Уфангуан, Юшулин, Ляньджань, Ляоян, Шахэ, Мукден)

* Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума *(лат.)*.

наша армия была сильнее японской. В иных случаях она была многочисленнее на десятки и даже целую сотню тысяч человек, и все-таки мы терпели поражение. Г. Борисов сообщает точную численность, установленную уже после войны генеральными штабами обеих армий. «Эта таблица, говорит г. Борисов, рассеет мираж о невероятно больших японских силах и о их резервных бригадах, число которых наш генеральный штаб перед сражением на р. Шахэ насчитывал до *девяти,* в действительности же, если верить японцам, их было *четыре»*. Говорят, у страха глаза велики, но вероятно, не у одного страха. До такой степени преувеличить силы врага в поле — это, пожалуй, еще более фатальная ошибка, чем было преуменьшать ее перед начатием кампании.

Не будучи специалистом военного дела, я помню, десять лет назад, никак не мог понять: почему мы первое же сражение (под Тюренченом) проиграли, когда имели возможность и непременно должны были выиграть его. Воюют не тела, а души, — для каждой же воюющей души необыкновенно важно иметь при первом вступлении хоть небольшой успех. Насколько успех окрыляет, вызывая в победителе бурный подъем энергии и страсти к дальнейшей работе, настолько неуспех роняет дух и обессиливает — часто до паралича. Даже шахматные игроки знают, что значит потерять первую фигуру. Мне казалось сначала, что на позиции правого берега Ялу А. Н. Куропаткин или совсем не примет сражения, или непременно разобьет японцев. Зловещим предчувствием сжалось сердце, когда выяснилось, что главнокомандующий, собравший большие силы под Ляояном, лично не съездил на долго подготовлявшиеся позиции у Тюренчена. Теперь, когда опубликованы подробности сражений, — я убеждаюсь, что в свое время был прав. Мы имели полную возможность разбить японцев на Ялу. Правда, их перевес в этом сражении достигал $24\frac{1}{2}$ тыс., но не говоря о том, что нам помогала река и укрепленный берег,— неужели из-под Ляояна нельзя было подвести 25-тысячный отряд для уравнения сил? Можно было, конечно, подвести и вдвое больше. Но что всего ужаснее, — как утверждает г. Борисов, — под Тюренченом мы ввели в бой не 18 тысяч, а меньше трети — лишь 5 тыс. человек против 42-тысячного японского отряда. Потому только и были разбиты. При Цзинь-

чжоу у японцев опять было больше войск, чем у нас, но из того-то маленького отряда, что мы имели (17,5 тысячи человек), мы ввели в бой *едва четвертую* часть — 3800 чел. Стало быть, три четверти сил наших, как и флот, стоявший на флангах, бездействовали. Принимая в расчет укрепленную позицию и эти четверные силы, которые *должны* бы были действовать, — всего вероятнее, что и тут мы остались бы победителями. Под Вафангоу у нас перевес численности был уже на 7800 солдат, под Уфангуаном — на 15 700, под Ляояном — на 90 067 ч, под Шахэ — на 100 800 солдат и 260 орудий...

В названной статье г. Эль-Эса читатели нашли оценку этого ужасного обстоятельства со стороны боевого офицера. Называю это обстоятельство ужасным потому, что на русском языке нет слова, ближе подходящего в данном случае. Быть почти вдвое сильнее неприятеля (221 тыс. против 120) и проиграть сражение — это не несчастье, а действительный ужас. Тем прискорбнее читать в «Русском Инвалиде» полемику редакции с собственным же сотрудником и попытку вышутить этот эпитет г. Борисова «ужасное» в применении к выводам войны. В кои-то веки почтенная газета разрешила себе смелость напечатать сильные своею правдивостью цифры и, по-видимому, сама до того испугалась этой смелости, что торопливо бьет отбой. «Есть, — говорит газета, — темы, разбор которых, совершенно уместный на столбцах своей специальной военной печати, становится совершенно нежелательным на страницах печати, предназначенной для широких кругов штатской публики». Как вам нравится эта претензия? Вполне было бы понятно, если бы о специальных военных вопросах в общей печати рассуждали совершенно невежественные штатские люди, но и г. Борисов, и г. Эль-Эс — люди сами военные и в данном случае осведомленные наилучшим образом. Выходит так, что «Русский Инвалид» находит вполне желательным и целесообразным, когда с «широких кругов штатской публики» берутся налоги на содержание армии и берутся сыновья и братья, чтобы вести их в бой, — но он находит совсем нежелательным и нецелесообразным, если той же публике дается сознательный отчет о понесенных поражениях. Я думаю, широкие круги штатской публики с этим вряд ли согласятся. Нация, принимающая на свою многостра-

дальнюю грудь все великие жертвы войны и весь позор поражения, имеет право знать правду. Что «столбцы военной печати» не обеспечивают военной правды — доказательство постыднейшая война, которой безумные ошибки еще в приготовительном периоде «Русский Инвалид» совершенно не предвидел.

Поясняя, почему мы были разбиты «даже при невероятно благоприятных условиях», г. Борисов говорит, что под Шахэ «на нашем левом фланге наши 73 батальона вели бесплодную борьбу с 18 японскими батальонами, на нашем правом фланге 13 батальонов генерала Дембовского вели борьбу против одного взвода японского, выбивая его из двух деревень, т. е. 208 взводов воевали против 1 взвода, 32 батальона ген. Соболева удерживались шестью батальонами японских» и т. д. Общую причину поражений наших г. Борисов видит *в негодности наших боевых форм...* Японцы развертывали все в боевую линию; можно сказать, что все их 100 тысяч человек пользовались своим ружьем. Мы же выстраивали свои войска в две или даже в три линии. Ружьем пользовалась только первая линия, она изнемогала в бою, «истекала кровью», — говорит очевидец, германский военный агент Теттау. Тогда ее днем же, в виду неприятеля, выводили из окопов и заставляли отступать под яростным огнем противника. Главная часть наших потерь и относится к периодам отступления. Отсюда ясно, почему на р. Шахэ мы потеряли 41 316 человек, а японцы только 20 497 чел. Английский генерал Гамильтон говорит, что *у русских только одна восьмая часть полка могла стрелять, а остальные могли бы иметь пики...*

Вот в чем *несомненный ужас* того, что произошло. В наших поражениях нисколько не виновата Россия, ибо она выдвинула на войну не только *достаточную* армию, но в крупных сражениях — *с огромным перевесом* сил. Не виноваты офицеры, ибо они гибли без числа, честно исполняя долг храбрых. Не виноваты солдаты: по отзыву того же Гамильтона и других свидетелей, «в самые критические и отчаянные минуты, когда всякая надежда потеряна, русские начинают показывать высокий класс и пожары в русском боевом порядке глохнут тут же на месте» (это пишет г. Свечин в «Русск. Инв.»). Нельзя согласиться с г. Эль-Эсом, что виною наших поражений были «миллионные громады, наскоро собранные, наспех подученные,

не впитавшие в себя шестого солдатского чувства». Ведь и у японцев армия была собрана на основании всеобщей воинской повинности. Печальная разгадка наших поражений не в этом, а просто в отсутствии у наших вождей военного таланта. Разве не ту же картину вы видите во всех областях творчества, где вместо дарования, которое есть просто-напросто повышенный здравый смысл, — поставляется бездарность?

Когда готовятся к столь неизмеримо сложному предприятию, какова война, профаны думают, что нужны нечеловеческие размеры мозга главнокомандующего, чтобы сообразить бесчисленные мелочи и быть готовыми «до последней пуговицы» к бою. Изучая великих полководцев — Наполеона, Суворова и т. п., вы действительно видите перед собою людей, вечно думавших о войне, имевших поэтому изумительную военную память и способных крайне быстро ориентироваться даже в мелочах. Но не эти мелочи решали успех войны. В разгар мистерии боя психологически некогда помнить о мелочах, и решает победу нечто совсем другое. Решает победу обыкновенный здравый смысл, т. е. вполне ясное соображение главных условий. Допустим, что командующими армиями у нас были бы не профессора военной академии, а простые штатские люди, но вполне здравомыслящие. Они рассуждали бы так: нападение всегда выгоднее обороны, ибо дает возможность ошеломить врага неожиданным ударом, нагнать на него страх и расстроить его расчеты. Ergo, — общая стратегия и общая тактика должны быть «нападательными», как выражался Суворов, — *всегда* нападательными. О «подлой ретираде» (слова того же Суворова) нечего, стало быть, и думать, о чем войска заранее должны быть предупреждены. Простой здравый смысл говорит также, что войска то же, что порох или снаряды, — их нужно бережно хранить до момента боя, но безумно и преступно не истратить их в бою, — ибо в этом же их назначение, чтобы быть истраченными. Простой здравый смысл говорит, что при сближении с неприятелем важно предварительно заставить его разбиться о наши укрепления, о наш артиллерийский огонь, — но наступает момент, когда непременно нужно переходить в наступление, и уже раз перейдя в него, *гораздо выгоднее умереть*, нежели отступить. Гораздо *выгоднее* — не говоря о нравственной стороне дела. Прос-

той здравый смысл говорит, что сблизившись с неприятелем, нужно как можно скорее забросать его огнем, и кто в единицу времени выпустит более выстрелов, тот и побеждает, как прежде — при холодной атаке — кто нанесет более штыковых и сабельных ударов, на стороне того была и победа. Этот простой секрет победы известен даже детям, играющим в снежки. Кто проворнее и метче бросает снежки, тот берет и верх. Трагедия войн не знает другого талисмана победы: глазомер, быстрота, натиск. Если так говорит здравый смысл, то что же это значит: «у русских только одна восьмая часть полка могла стрелять, а остальные могли бы иметь пики»? Это значит полное помрачение здравого смысла, ни более ни менее.

Если четвертая часть армии двинута в бой, а три четверти стоят праздными зрителями, то не похоже ли это на то, как если бы человек при нападении разбойника решил сначала защищаться одною нижней оконечностью, а руки оставил бы про запас? Мне кажется, недолгий опыт такого боя показал бы, что скупость тут сродни глупости и что, когда вопрос стоит о вашей жизни или смерти, гораздо умнее пустить в дело все ваши органы обороны. Старая тактика была основана на старом оружии, при котором огонь нельзя было развить дальше нескольких сот шагов. Сразу вводить в бой большие массы нельзя было, чтобы не создавать для себя же Ходынки. Новое оружие допускает бой на дальнем расстоянии, т. е. действие больших масс при сравнительно безопасном их разрежении. Японцы использовали эту возможность, мы — нет, и потому даже при огромном, почти двойном перевесе сил мы бывали разбиты. Вовсе не нужно специально военной учености, чтобы понять, что выводить людей из окопов и отступать под яростным огнем неприятеля — это значит кроме одной победы дарить неприятелю другую. Самый обыкновенный «штатский» здравый смысл мог бы предостеречь от столь роковой ошибки...

Я не согласен с г. Борисовым, что причина наших поражений — это «негодность наших боевых форм», т. е. стратегии и тактики. Позвольте, — да ведь эти «формы», годные или негодные, создаются и практикуются людьми же. Не падают же они с луны? Каждый великий полководец вносил свои поправки в боевые формы, поправки на новый характер оружия и

обстановки. Кто же мешал нашим полководцам быстро сообразить, какие формы наиболее пригодны, и их использовать? Г. Борисов с глубокой скорбью свидетельствует, что эти «негодные формы и доныне у нас сохранились и доныне царят и завтра же обнаружатся в новой войне». «Рассмотрите, говорит он, любой тактический задачник с решением задач, и вы убедитесь, что, несмотря на свое издание в 1913 году, задачи решены совершенно в духе «негодных» боевых форм»...

Все это поистине ужасно, и «Русский Инвалид» совершает дурное дело, стараясь из ненужного подобострастия перед сильными мира затушевать, смягчить, свести на нет полные отчаяния выводы своего же сотрудника. Мы находимся в самом деле перед явлением, для нас грозным: ученейшие наши генералы и профессора, делавшие в мирное время самую ослепительную карьеру, — чуть коснулось войны, оказались потерявшими секрет победы — здравый смысл... Уже, конечно, без худого намерения, а напротив — с наилучшими — они отдавали приказания, как раз обратные тем, которые могли вести нас к победе. Чем же это объяснить? Позволю себе повторить то, что говорил уже не раз. Источник наших поражений находится прежде всего в плохой военной школе. Слишком она сделалась книжной и теоретичной, слишком многому она учит совершенно не нужному, а «единое, что на потребу» — военное искусство — оставляет в пренебрежении. Военное искусство, как всякое, основывается на *подборе талантов,* на небольшом количестве теории и на огромном количестве практики. Наша же военная академия подбирает людей чаще всего с призванием к общей карьере и делает их военными учеными, а не военными генералами. Разве не глубоко знаменателен факт, что наиболее отличившиеся генералы в прошлой войне были воспитанниками не академии, а средней военной школы? При военном таланте такие генералы имели еще одно огромное преимущество пред академистами. Мозги их, в свое время не приплюснутые массой чужих мнений, сохраняли способность создавать свои. Не связанные заготовленными, как консервы, военными формулами, не порабощенные модными теориями, боевые генералы неакадемисты поневоле искали себе указаний прежде всего в здравом смысле. В то время как некоторые ученые полководцы, давно превратившиеся в чиновников, по

дороге в действующую армию повторяли академические учебники, читали энциклопедию войны и трактаты по стратегии, — более их талантливые строевики слушались своего инстинкта, воспитанного на боевом опыте, слушались — как Сократ — того гения, который каждому искреннему человеку довольно ясно говорит, что нужно делать и что не нужно. Никогда мы не выбьемся из-под власти «негодных боевых форм», влекущих к поражению, если не сбросим гипноза схоластической военной школы. Я не забываю, что, начиная Скобелевым, немало военных талантов вышло из военной академии. Но ведь большой талант вроде скобелевского трудно испортить даже очень плохою школой. Последняя портит посредственности — и их уже портит безнадежно. Не что иное, как именно мертвая школа, ввергает целые поколения в декадентство, отучивает их от здравомыслия и прививает извращения ума и вкуса. Людям, на вид вполне здоровым, вдруг начинает казаться, что самые красивые волосы — зеленые или синие или что одной рукой удобнее сражаться, чем двумя. Уверяю вас, — это начинается в расстроенной семье и доканчивается в расстроенной школе.

ИНВАЛИДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

20 февраля 1914 г.

С редактором «Русского Инвалида» г. Беляевым случилось большое несчастье: он пропустил в казенной газете сведения (из японских источников) о том, что мы терпели поражения даже в тех шести или семи битвах, где имели несомненный численный перевес, доходивший до десятков и даже до сотни тысяч солдат. Естественно, что сообщение это глубоко ужалило еще раз незажившую рану нашей народной гордости, и в общей печати поднялись стоны негодования. Иначе, как стоном негодования, нельзя назвать сдержанную и сильную статью г. Эль-Эса в «Нов. Вр.», израненного в боях офицера русской армии, как и статью г. Борисова в «Веч. Вр.». Редактор «Инвалида» г. Беляев, видимо напуганный этим шумом (что-то скажет начальство!), пытается отвлечь внимание публики от неосторожных разоблачений своей газеты в другую сторону. Он выстреливает сразу двумя ругательными статейками по моему адресу, как будто это может сколько-нибудь изменить значение проигранной войны. С большой надутостью г. военный редактор заявляет: «Считаю себя в этом отношении обязанным взяться за перо». Это знаете ли, очень страшно, когда, наконец, «берется за перо» г. В. Беляев. Ох, что-то он напишет! Прежде всего г. Беляев считает долгом расхвалить газету, которая имеет в его лице столь блестящего редактора. «Газета эта, — говорит г. Беляев, — верно и нелицеприятно служит армии и родине, являясь органом военного министерства и памятуя присягу — не за страх, а за совесть служить интересам Его Величества, почему *неправде нет места на ее столбцах»*.

Очень хорошо, но посмотрим, так ли это на деле. Прежде всего совершенная неправда, будто выражение «не за страх, а за совесть» входит в присягу. Оно входит в другой закон, и, стало быть, вы, г. Беляев, пло-

хо «памятуете» даже присягу. Затем, чтобы не ходить далеко, позвольте отметить самую бесцеремонную вашу неправду, очень близкую, как это ни тяжело сказать, *к умышленной лжи*. Вы пишете: «Что же говорит по этому поводу г. Меньшиков? *Он отрицает значение военного образования и рекомендует* в полководцы простых штатских людей, но вполне здравомыслящих».

Тут две неправды, — точнее, тут две умышленные лжи, ибо *никогда* я не отрицал значения военного образования и *никогда* не рекомендовал в полководцы простых штатских людей, хотя бы вполне здравомыслящих. Так как г. Беляев ссылается на мои последние две статьи по военному делу — «Война и здравый смысл» и «Героическая жизнь» (9 и 15 февраля), то очевидно, что он читал эти статьи и незнанием их не может оправдать свою неправду. Я не только не отрицаю значения военного образования, но в одной из названных статей рекомендую новому военному журналу («Армия и Флот») смотреть на себя «как на продолжение офицерской школы». В образование военное я ввожу не только науку, но и искусство, и не одно искусство, но также и науку, без которой искусство невозможно. «Я не сторонник (пишу я далее) милютинского метода изучать войну через бумагу. Несравненной и ничем незаменимой школой для войны навсегда останется не академия, а война. *Но за отсутствием войны следует учиться ей как и где доступно»*. Вот мое мнение.

Скажите же, читатель, — правду ли говорит г. Беляев, будто я отрицаю значение военного образования?

В другой моей статье («Война и здравый смысл»), окончательно выведшей г. Беляева из равновесия, — я отрицаю вовсе не военную школу, а лишь *плохую* военную школу: «Источник наших поражений (пишу я) находится прежде всего в плохой военной школе. Слишком она сделалась книжной и теоретичной, слишком многому она учит совершенно не нужному, а «единое, что на потребу» — военное искусство — оставляет в пренебрежении. Военное искусство, как всякое, основывается на *подборе талантов*, на небольшом количестве теории и на огромном количестве практики. Наша же военная академия подбирает людей чаще всего с призванием к общей карьере и делает их военными

учеными, а не военными генералами». И далее: «Никогда мы не выбьемся из-под власти негодных боевых форм, влекущих к поражению, если не сбросим гипноза схоластической военной школы»... «Не что иное, как именно мертвая школа, ввергает целые поколения в декадентство, отучивает их от здравомыслия и прививает извращения ума и вкуса». Кажется, ясно, что, говоря о «плохой», «схоластической» и «мертвой» военной школе, *я вовсе не отрицаю хорошей военной школы,* основанной на живом и современном опыте. Не отрицая хорошей школы, я eo ipso не могу отрицать и значения военного образования. Стало быть, повторяю, г. Беляев говорит обо мне неправду.

В такой же степени ложно, будто я «рекомендую» в полководцы простых штатских людей, вполне здравомыслящих. Я доказываю только, что даже простые штатские люди, но вполне здравомыслящие, не наделали бы на войне тех бессмысленных ошибок, которые у нас наделали военные профессора. Я привожу в пример, как стал бы рассуждать простой штатский человек, попавший в главнокомандующие (в истории бывали примеры таких полководцев: уж это-то, вероятно, г. Беляев не «запамятовал»). Даже штатский *вполне здравомыслящий* человек не мог бы в общем ходе стратегии и тактики рассуждать иначе, чем рассуждал Суворов, ибо гениальность последнего, как и всякая гениальность, ведь и есть не что иное, как наиболее ясное здравомыслие. Это, конечно, вовсе не значит, что достаточно взять вполне здравомыслящего обывателя — вот вам и Суворов. Суворов имел огромное военное образование и особый военный инстинкт, подобный инстинкту охотника, но даже без этих высоких преимуществ простой, здравомыслящий обыватель не шлепнулся бы в Маньчжурии так плоско, как наши схоластики генерального штаба. Совершенно напрасно г. Беляев наводит тень на цифры японской военной истории, — эти цифры, как доказал г. Борисов, совпадают близко и с нашими данными, да наконец что же нибудь значат отзывы посторонних свидетелей — иностранных военных агентов. Не японцы, а Гамильтон утверждает, что «у русских только одна восьмая часть полка могла стрелять, а остальные могли бы иметь пики». И уж если немецкого офицера (Теттау) действия русских академических схоластиков заставляли дрожать от негодования, то, стало быть, этот

позор был даже не относительный, а абсолютный, годящийся в поучение всем народам и на все века.

Не умея сказать что-нибудь серьезное по существу, «Русский Инвалид» начинает попросту ругаться, думая, что уже этот-то прием вполне победоносен для казенной газеты. «Г. Меньшиков в данном случае заботится больше о хлестком слове», «одинаково охотно берется за все для того, чтобы произвести дешевый газетный эффект», «г. Меньшиков науськивает общество и армию против военной науки» и пр. и пр. О, как это безнадежно-бездарно! *Вопрос в печати ставится громадного, трагического для народа значения,* вопрос идет не только о чести, а о самом, может быть, существовании народа русского, ибо без хороших полководцев, как показал опыт, — нет армии и нет защиты, — а «орган военного министерства» только и умеет, что свести дело к личной, совершенно вульгарной полемике. Если штатский публицист возмущается явной и доказанной бессмыслицей будто бы ученой стратегии и тактики, то это, видите ли, не что иное, как дешевый «газетный эффект». Нет, господа штабные «моменты», это не газетный, а, к сожалению, всесветный эффект, и не дешевый, а страшно дорого обошедшийся несчастному народу русскому. Многие, многие поколения России будут оплакивать еще небывалое в нашей истории бесславие, и сколько бы ни пытались замазать, затушевать, подкрасить эту тяжкую рану народную, боль ее пойдет в глубь веков.

Что не одни «штатские», т. е. граждане русские, негодуют на виновников национальной нашей катастрофы, доказывают те немногие независимые голоса военных, которые раздаются иногда в самом «Инвалиде», вероятно, к искреннему смущению г. Беляева. Вот что пишет г. А. Свечин — судя по статье — боевой офицер. «Тяжелы наши ошибки в прошлую войну... Тактика армии представляла противоестественную комбинацию ударного метода Драгомирова с декадентским признанием бурских методов одиночного, бессильного наступления, всемогущества огня и неуязвимости фронта. Основная вина высшего командования не в том, что оно писало плохие диспозиции, а в том, что оно не сумело вызвать в армии доверия к своим силам. Измученные неудачами, мы хватались за строи и методы боя, которые позволяли укрываться от неприятельского огня; укрытию и обеспечению всегда отда-

валось преимущество перед поражением неприятеля. Читатель, когда вы увидите в поле перебежки по одному или по звеньям, когда, чтобы уменьшить потери, мы сами закрываем одиночными людьми огонь целых взводов — вспомните, что это отдаленный отзвук маньчжурских неудач. Мы стали скептиками. Еще стреляли, но в глубине души не верили, что наши пули и шрапнели еще сохранили способность убивать японцев — и, естественно, уклонялись от образования боевых частей, от наступления, так как всякое проявление энергии на поле сражения представлялось нам как принесение лишних жертв».

Вот до какой степени *морального разложения* довели армию «мы», — *пишет* г. Свечин. Но кто же это «мы»? Да ведь это те же полководцы наши, блестящие воспитанники академии генерального штаба, бывшие профессора ее, которых столь подобострастно защищает г. Беляев. Г. Свечин приводит яркую иллюстрацию того упадка духа, до которого «мы» довели непобедимого когда-то русского солдата. «В сражении на р. Шахэ штабу, в котором я находился, *удалось раздобыть* горную батарею и открыть огонь с 2200 шагов на вершине Лаутхалазы; пехотинцы отчетливо видели, как сотня японцев, теряя убитых и раненых, пустилась наутек со скал, которые лизала наша шрапнель — и *я прочел глубочайшее удивление на лицах не только солдат, но и офицеров:* и японцы не бессмертны, и мы стреляем не холостыми патронами! Если бы войскам почаще удавалось демонстрировать силу их оружия, войска научились бы дерзать... Не то же ли суеверное признание японского бессмертия и нашего бессилия заключалось в работе высшего управления — в глубокой эшелонировке резервов, в выделении крупных сил для охранения флангов, в *введении стрелков и орудий в бой капля по капле?* Всякое проявление энергии в бою переходило в сознание высшего командования лишь как обращение войсковых частей в поток раненых; *народилась экономная теория боя — закрывать руками голову и не наносить врагу ударов»...*

Так пишет в самом же «Русском Инвалиде» офицер, видевший войну собственными глазами и переживший все ее несчастные состояния. Характеристика, даваемая нашему высшему командованию г. Свечиным, мне кажется, не менее ужасна, чем цифровой

обзор г. Борисова. Как вам это нравится: «удалось раздобыть» горную батарею в великом сражении, где ген. Куропаткин, как писал в многоречивом приказе, собирался заставить неприятеля исполнять его волю? Мы после долгих лет подготовки начали горную войну без горных орудий, и уже одно орудие, которое «удалось раздобыть», показало штабу, где находился г. Свечин, чем должна бы была быть война, если бы мы имели другое, менее ученое, но более талантливое командование.

«Русский Инвалид» лепечет что-то жалкое о том, что виновата в данном случае общая пресса: она, видите ли, смущает запасных и прапорщиков запаса, заставляя в мирное время терять их доверие к армии, и потому они «не имеют достаточных духовных сил для перенесения гнета боевых ужасов». Виновата общая пресса «со скудно развитым чувством патриотизма и с забывшей Бога душой (мало религиозности в нашем обществе!)», виновато «Новое Время», допускающее «бесконтрольное выступление недостаточно компетентных авторов, проповедующих и критикующих все и вся». Вот вам чудесное открытие Америки г. Беляевым. Но он забыл одно маленькое обстоятельство: общая пресса критикует войну ведь после войны, — стало быть, каким же образом наша *теперешняя* критика могла повлиять на запасных и подпрапорщиков 10 лет назад? Десять лет назад общая пресса лишена была права какой бы то ни было критики высшего командования. Разрешалось только расхваливать их высокопревосходительства и кричать им «ура». Не только никто не подрывал доверия к главнокомандующему, но целые четверть века печать русская воспевала ген. Куропаткина, ставя его в одно созвездие Близнецов с гениальным Скобелевым. Что же вышло из этого слепого идолопоклонства? И не лучше ли было бы для славы армии и чести народа русского, если бы тогда же, 25 лет назад, у нас была свободная пресса, которая свеяла бы критическим разбором хоть часть незаслуженного ген. Куропаткиным доверия к нему как к полководцу?

«Русский Инвалид» с важностью поучает «общую прессу», что ей делать вместо расследования прошлой войны. «Не лучше ли, — пишет он, — им поработать на почве развития религиозности, патриотизма в наших семьях, школах, в обществе, в народе, на всем

необозримом пространстве нашей великой родины, военную силу которой нужно ковать, а не разрушать в мирное время необдуманным трезвоном? А уж о военной школе и формах ведения боя позвольте пообсудить и поговорить нам, военным». Да сделайте одолжение, — кто же вам мешает, г. Беляев, «пообсудите», если это вам по силам, — но только выйдет ли какой-нибудь толк из вашего пообсужденья? «Русский Инвалид» до маньчжурской войны имел свыше 90 лет для обсуждения вопросов о военной школе и формах ведения боя, и все-таки мы оказались разбитыми. 90 лет — срок не малый! Если в «общей прессе» вместо душеспасительных занятий, рекомендуемых г. Беляевым, и раздается иногда тревожный «трезвон» по поводу войны, то ведь потому только, что инвалидный способ обсуждения войны привел империю к катастрофе, притом далеко еще не законченной. Общая пресса есть голос сознательного общества, — это не трезвон, а набат, подобный пожарному. Если вам, людям военной карьеры, этот набат неприятен, то вспомните, что огонь войны не столько вас коснется, сколько нас. Не ваши, а народные средства будет пожирать бесславная война. Дети общества и народа, а не одни лишь ваши пойдут навстречу смерти. Не скромный фиговый лист для прикрытия начальственных грешков и недочетов, в какой роли служит военная газета, — во главе армии воздвигнуто будет священное знамя нации, и именно его ждет в будущем слава или позор. Не зная, какою бы наивностью разрешиться блистательнее, вы вините печать в разрушении военной силы. Но свободная печать в России еще только начинает жизнь свою и находит армию и флот уже разрушенными. Печать «общая» оплакивает эту катастрофу и вместе с народным представительством кричит о необходимости *восстановить* народную силу. Но восстановлять ее нельзя излюбленным методом официальной лжи, методического обмана общественного мнения, подделкой благополучия, которого нет. Доверие народное — вещь великая, но оно должно быть *оправдано*, иначе превращается в национальную глупость. Все наше доверие героям! Все наше сердце и душа — Скобелевым и Суворовым, — и никакого доверия к начитанным в учебниках схоластам, которые в военных своих мундирах прячут робкие чиновничьи души. Доверие к таланту — и никакого доверия к бездарности.

1915 год

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

12 апреля 1915 г.

Когда давление пара в котле перейдет известный предел, котел взрывается, и ему, и окружающей обстановке при этом приходится плохо. Подобным котлом с беспрерывно растущим внутренним давлением была Германия. Война 1914—1915 гг. не что иное, как взрыв целой расы, запертой в слишком тесных границах. Этот взрыв предсказывался многократно. В числе недавних пророчеств укажу на доклады известного генерала Вендриха в собрании армии и флота. За несколько лет до войны он в качестве инженера прекрасно изучил железнодорожную сеть в Германии, и в частности колоссальный берлинский железнодорожный узел, дающий возможность перебрасывать бесчисленные поезда на запад и восток империи. Живя за границей подолгу, генерал Вендрих чутко присматривался к подготовке немцев к войне. Он сообщал в своих докладах многое драгоценное, что, к сожалению, или не находило достаточно внимательных слушателей, или не «тех, кому ведать надлежит». Вспоминая некоторые доклады этого генерала, на которых мне довелось быть, я только теперь оцениваю, насколько он был прав. Одно из утверждений ген. Вендриха состояло в том, что немцам *непременно* надо воевать, ибо население Германии слишком сгустилось, слишком переросло территорию, и что уже вся Германия пропиталась этим стихийным чувством — необходимости расширения.

Еще до времен Бисмарка Германия уже была тесна для немцев, но тогда паровой котел этой страны имел, как и в Англии, широкую отдушину — американскую эмиграцию. Военные успехи Пруссии свели с ума семью Гогенцоллернов, и сумасшествие это, к сожалению, передалось нации; следствием этого было то, что естественную отдушину заткнули, а стали меч-

тать о расширении объема котла, стали накапливать в себе силы для взрыва, ну и... наконец, лопнули. Обвал немецкой расы в сторону России, Бельгии, Франции и Англии, конечно, наделает бед этим странам, но в результате, как надо думать, на месте катастрофы останется разбитый котел с выпущенным в пространство паром. Потерпевшие соседи отремонтируют границы, примут серьезные меры против повторения бедствия, и одной из серьезнейших будет восстановление немецкой отдушины по направлению за океан. В Соединенных Штатах, говорят, имеется уже 18 миллионов немцев. Великая республика в состоянии вместить в себе еще десятки миллионов прежде, чем завяжется смертельная борьба — какой быть Америке — англосаксонской или немецкой. Чрезвычайно обширны Канада, Аргентина, Бразилия. Если бы вместо глупого плана — покорить Европу немцы последовали умному примеру англичан и забирали бы себе пустые земли на земном шаре, и если бы они в этот план вложили все те чудовищные миллиарды, что потрачены ими на милитаризм, то, подобно Англии, Германия уже была бы колониальной империей во всех пяти частях света и ее положение было бы прочнее, чем теперь. Тогда имел бы какой-нибудь смысл и грандиозный флот, ныне сидящий в карцере, в Кильском канале, имело бы смысл и соперничество с царицей морей.

Глупый план основать немецкую империю на развалинах всей Европы всего более угрожает России, как стороне наименее населенной и уже тщательно *подготовленной* для немецкого нашествия. Подготовка велась не годы, не десятилетия, а целые столетия, и началась еще до Петра Великого, как бессознательный осмос, проникновение более напряженной народной стихии в менее напряженную. Если хотите познакомиться с этим, довольно древним у нас процессом, вам придется перечитать чуть ли не всю русскую историю со времен варягов, историю нашей обороны от Швеции, Ливонского ордена и Польши. Что касается мирного внедрения немцев, то вам придется прочесть сочинения профессора Дм. Цветаева. Он, кажется, отчасти специализировался на этом предмете. Известны его труды «Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразования» (М., 1890. Ц. 6 р.), «Литературная борьба с протестантством в Московском госу-

дарстве», «Первые немецкие школы в Москве», «Медики в Московской России», «Обрусение западно-европейцев в Московском государстве», «Памятники к истории протестантства в России» и проч. и проч. У нас одна беда — пишут много, а читают мало, — особенно те, «кому ведать надлежит», кто делает политику и влияет на судьбу народную. Как и в позднейшее время, так и в древности не столько правительство защищало народ от внедрения инородчины и иноземщины, сколько сам народ. Правительство с давних пор, еще допетровских, скорее поощряло наплыв иноземцев, оно первое подчинялось всевозможным заграничным культурам — византийской, татарской, польской и немецкой. Более или менее успешно отражая военный напор, московское правительство (и раньше — киевское) охотно поддавалось мирному завоеванию и сдавало без боя те позиции, которые ни за что не уступило бы открытой силе. Но народ в стихийной массе делал поправки на эту слабость своей власти. Народ выработал одну великую предохранительную прививку против порабощения иноземцами. Этой прививкой служило православие, та особенная русская вера, которая политически всегда спасала Россию. В православие ушла вся личность народа русского, все его национальное чувство, его философия и поэзия. Понятие «мы» сделалось тождественным с понятием «православные». И вот об эту твердыню долгие века разбивались, как о некий Гибралтар духа, все чужеземные волны, приливы и разливы...

Когда Олеарий с голштинским посольством в 1634 году из любопытства заходил в стоявшие по пути русские церкви, — их тотчас же выводили назад и выметали за ними пол. То же свидетельствует Мейерберг в 1662 г. Иностранцев выводили вежливенько, «взявши за плечи», но настойчиво. Иноземцам в Москве не разрешалось иметь православных икон. Когда немецкий купец Карл Моллин купил в Москве у одного русского каменный дом, то прежний хозяин вынес все иконы, тщательно соскоблил с внутренних стен священные изображения и захватил с собою соскобленные остатки. Некоторые немцы для своей русской прислуги стали было приобретать православные иконы. Патриарх Филарет Никитич велел эти иконы отобрать, а русским у иноземцев не жить. Это был вовсе не фанатизм, ни политический, ни религиозный, а про-

сто вполне здоровое чувство национальности и потребность оберечь эту святыню во всей ее чистоте. «Чтобы христианским душам осквернения не было и без покаяния не помирали бы», уложение царя Алексея Михайловича не только запрещает русским жить у иноземцев, но тех, кои учнут жить по крепостям или добровольно, велит сыскать и чинить им жестокое наказание, иноземцам же предписывает держать у себя одних иноземцев. Так как государству приходилось обращаться к услугам иностранцев, а денег иногда не было, чтобы платить им, то им давали поместья, однако за стеснение крестьян в вере Алексей Михайлович в 1653 году велел имения отбирать и «иноземцам всяких чинов людям вотчины свои продавать русским людям, а иноземцам некрещеным не продавать». Закон мудрый, отмененный впоследствии на погибель России. При Алексее Михайловиче помещиками могли быть только православные. Некрещеный иноземец не мог ни жениться на русской, ни дочь свою выдать за русского.

Пойманный Левиафан

Следует удостоверить, что московское правительство до Петра Великого, само проникнутое народным чувством, неизмеримо мудрее действовало в отношении инородцев, чем правительства последующих веков. Практичные москвитяне, говорит Цветаев, наблюдали, чтобы все отрасли, где применялся иноземец, оставались в русских руках, или, по крайней мере, под русским контролем и наблюдением, чтобы мало-помалу подготовлялись умелые лица из природных русских. За скрывание от русских, например, железоплавильного мастерства потерпели даже такие надобные и сильные люди, как известные устроители тульских оружейных и железоделательных заводов голландцы Марселис и Акема. За эксплуатацию в торговле пострадали англичане, — Алексеем Михайловичем они были высланы из Москвы и других городов и ограничены в праве торговли лишь у Архангельска. Безоглядочного надевания на себя петли иностранного капитала, как в некоторые позднейшие эпохи, и в помине не было. Уважая многие полезные знания и деятельность иноземцев, тогдашняя русская власть

была высокого мнения о народе русском и о государстве: последнему иноземцы приглашались *служить*, а вовсе не властвовать над ним. Так называемое «немецкое засилье», от которого Россия теперь стонет, не было безызвестно и в старой Москве. В Москве, отстраивавшейся после Смутной эпохи, как пишет Цветаев, иноземцы захватывали русские дома в лучших и наиболее покойных частях города, перебивая у русских покупателей. Иные, нанимая себе квартиры у своих и русских, продавали всякие товары, оптом и в розницу, даже беспошлинно. Москвичи роптали, иногородные купцы не раз жаловались правительству. С купцами иноземцы, раздававшие взятки по приказам, справлялись легко. Тогда выступила та народная предохранительная прививка, о которой я говорил выше. Выступила церковь. Причты одиннадцати церквей, в пределах приходов которых расселились иноземцы, подали Михаилу Федоровичу (1643 г.) челобитную на «Немцев». «Они-де в их приходах на своих дворах вблизи церквей поставили ропаты (т. е. кирки, молельни) и чинят всякие соблазны и убытки. Они, немцы, русских людей у себя на дворах держат, и всякое осквернение русским людям от тех немцев бывает. Не дождавшись государева указа, покупают они дворы в их приходах. Вдовые немки держат у себя в домах всякие корчмы, и многие прихожане хотят свои дворы продавать немцам, потому что немцы покупают дворы и дворовые места дорогою ценою, пред русскими людьми вдвое и больше, и от этих немцев приходы их пустеют».

Разве это не картина уже широко развернувшегося немецкого засилья? И где же, — в самой Москве, в твердыне русской государственности и православия! Но тогдашняя власть вняла голосу церкви. Последовало повеление: «Ропаты, которые у немцев поставлены на дворах близко русских церквей, сломать». «На Москве, Китае, в Белом-городе и за городом в слободах дворов и дворовых мест немцам и немкам вдовам у русских людей не покупать, и купчих, и закладных на то в земском приказе не записывать». Тем русским, которые соблазнились бы и после этого продавать немцам дома и дворовые места, объявлена была царская опала. Что это был не каприз одиннадцати московских храмов, а борьба, поднятая против серьезнейшего зла, показывает то, что названный за-

кон был принят «Соборным Уложением». Тем не менее немецкое засилье, основанное на подкупе и соблазне, все-таки продолжалось, и через несколько лет в это дело пришлось вмешаться уже патриарху, этому первому, после царя, чину тогдашней государственности. По словам проф. Цветаева, «все иноземцы, *как эксплуатирующий элемент,* были высланы из Москвы в особую Ново-Иноземскую или немецкую Слободу».

Это была первая «черта оседлости», которую — увы! — постигла участь ее знаменитой тезки в XIX столетии. И материальный, и моральный соблазн, вносимый иноземцами, был так велик, что в борьбе с ним Москва изнемогала. Не она переварила немцев, а немцы съели Москву. В лице завоеванного их влиянием Петра на Москву и древнее православное царство наше надвигался чуть не единственный в мире переворот, в котором власть государственная лично как бы открыла шлюзы для наводнения своей страны враждебной стихией.

Следует заметить, что наряду с онемечением верхних русских слоев шло и обрусение приезжих немцев. Вначале на это русские смотрели неодобрительно. Патриарх Никон как-то заметил немцев, переодевшихся в русское платье, при одной церковной процессии. Последовал приказ — иноземцам скинуть русское платье и носить одежду своей страны. Плачевная ошибка! Она впоследствии разрешилась тем, что самим русским пришлось скинуть русское платье и облачиться в немецкое. Иноверцев московская власть не допускала ни в Боярскую Думу, ни в начальники приказов, ни в администрацию по областному управлению. Начался переход немцев в православие — настолько обильный, что в московских монастырях были заведены для этого особые крещальни с большими купелями. Выкрестам полагалось государево жалованье,— простые люди получали от казны рублей 10—30, одежду, материю, — знатные же по нескольку сот рублей и им дарились поместья. Менялись имена и фамилии. Наибольшие массы выкрещивались из пленных. Иван Грозный в Ливонии начисто вычерпывал немецкий элемент. Полон отводился в Россию громадными партиями, иногда по тысячам; переводили по преимуществу молодых, красивых и знатнейших. Главные массы их селили в подмосковных предместьях, но пленных можно было видеть кроме Москвы в

городах Владимире, Нижнем Новгороде, Пскове, Великом Новгороде, Угличе и в глухих местах по поместьям. Значительная часть пленных обращалась в крепостных. Такие принятием православия сильно улучшали свою участь.

С первого взгляда трудно понять, что заставило наше древнее правительство, глубоко народное, натаскивать в свою страну иноземцев и инородцев, — но причина, я думаю, была та же, что заставляет проделывать то же самое Америку, Африку и Австралию. Россия была очень богата землей и крайне бедна работниками на земле. В те века по населению Россия далеко уступала Франции, Германии, даже Испании, превосходя их пространством почти как теперь. Москве нужны были всякие люди, особенно культурные, и между ними особенно военные. За крещение в православие иноземные поручики получали 15, 20 и 25 рублей, — капитаны, майоры еще больше. Получали плату и их семьи. Заслуженный полковник Александр Лесли за крещение с многочисленной семьей получил большие деньги, — одной жене его уплачено было 100 руб. (сумма по тому времени громадная). Давались сверх того поместья, камка, сукно, прибавка жалованья, увеличенные порции вина, меду и пива. Огромные слободы под Москвой (Басманная, Панская) были населены такими выкрестами, и они свободно селились между русскими, сливаясь с ними. Это слияние было той наживкой, которую забрасывала Европа и проглатывала Россия — далеко не без вреда для себя. В конце концов Левиафан европейского материка был захвачен на крюк европейской, преимущественно немецкой эксплуатации. Именно этой неизмеримой и неисчислимой эксплуатации Россия обязана тем, что, богатейшая по своей природе, она через 200 лет после Петра остается все еще беднейшею по культуре.

Если скажут, что иноземцы кое-что сделали для русской культуры, я спорить не буду. Еще Олеарий встретил в Астрахани православно-русского монаха... из австрийских немцев, занимавшегося разведением винограда. Чего не бывает на свете! Но искренно претворившихся в нашу плоть и кровь немцев было немного. Миллионы же немцев теперешней колонизации и всевозможного засилья и не думают об ассимиляции с нами. Обрусевшие немцы были гатью, по кото-

рой шло мирное нашествие других, не желающих слияний и неспособных на него. Это авангард *завоевателей*. Такими считает их германское правительство, такими считают они себя и сами. А мы-то все колеблемся, а мы-то церемонимся с ними, а мы-то за ними всячески ухаживаем!

P. S. Прошу читателей поддержать сегодняшний кружечный сбор всероссийского национального союза, предназначенный в пользу уже действующих на войне питательных пунктов. Заведует ими член Г. Думы Г. В. Ветчинин, что одно уже ручается за полную добросовестность и полезность дела.

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

13 сентября 1915 г.

Как красиво начинает свою карьеру молодой моряк флигель-адъютант Вилькицкий! Он уже два года назад сделал громкие географические открытия в Ледовитом океане, он нашел новые острова и даже «земли», — он только что завершил блестящее путешествие от Владивостока через Берингов пролив, вдоль сибирского побережья до Архангельска. Не путешествие, а феерическая поэма. Правда, полярное плавание длилось что-то 16 месяцев, как это бывало в парусные времена Кука и Магеллана. Маленькую эскадру г. Вилькицкого не раз затирало льдом. Заходила речь уже о возможности гибели, о необходимости идти на помощь и т. д. Но неожиданно ледяные поля расходились, и прекрасно оборудованная эскадра тотчас пользовалась случаем, чтобы продвинуться дальше к западу, из ледовитых объятий поближе к теплой океанической струе. Я не имею чести знать лично знаменитого моряка. На докладе его в главном гидрографическом управлении я любовался его сильною и представительною наружностью, обещающею долгий век. Флигель-адъютант Вилькицкий — сын моего сослуживца в молодые годы, тоже известного ученого моряка, скончавшегося недавно в чине полного генерала. Как жаль, что Андрей Ипполитович не дожил до триумфов своего сына-героя! Говорю — *героя,* ибо помимо других прекрасных качеств, чтобы путешествовать вблизи полюсов, нужно иметь именно это свойство — героизм.

Впрочем, тысячью громов современная действительность кричит, что для совершения крупных дел мало одного героизма. Разве мало моряков-героев поглотил хотя бы тот же арктический океан! В течение столетий оба океана, таящие в себе оконечности земной оси, являются двумя наиболее трагическими теат-

рами на земле. Одно поколение героев-путешественников за другим шло на осаду неприступных тайн, обвеянных ужасами холода и полярной ночи. Долгое время гибель была тут правилом, благополучное возвращение — исключением, но наконец оба полюса открыты — и почти одновременно. И оба они были открыты не простым героизмом, а сочетанием его с современной техникой. Секрет разрешается необыкновенно просто. Для *больших целей нужны большие средства,* вот и все. «Как-нибудь» да «кое-как» никогда не делалось ничего великого, и особенно невозможно подобное великое теперь, когда наши предки «кругом обобрали свое потомство в отношении открытий и изобретений». Подите-ка, поищите на земной поверхности квадратный фут земли, «на который никогда не ступала бы нога европейца!» Вы его найдете с величайшим трудом и с затратою лишь целого капитала на экспедицию. Вспомните недавнюю охоту Рузвельта в центральной Африке. Небогатые деньгами правительства России и Китая еще могли бы сдавать в аренду для богатых globtrotter'ов * уголки, «которых не касалась нога европейца», — но в общем с прокурорской подозрительностью обследованы и весь свод небесный, и земная суша, и глубина морей. Флигель-адъютант Вилькицкий один из тех немногих, что имеют счастье закончить паспортные приметы земли и поставить под наукою географии заветное слово: «Конец». Или никогда не будет конца пытливости человеческой? Или географы, заключив инвентарь поверхности земного шара, зароются в пещеры, пропасти, пучины морей, в потухшие жерла вулканов, чтобы добавить еще одну, хотя бы крохотную подробность?

Восхищаясь героизмом, распорядительностью и морским талантом флигель-адъютанта Вилькицкого, мне кажется, мы должны отдать дань благодарности и тому учреждению, которое снарядило эту экспедицию. Отмечая дальность и меткость снаряда, долетевшего до славной цели, не грех помянуть и пушку, откуда он вылетел, и главного пушкаря. Таким пушкарем является, по моему мнению, нынешний начальник главного гидрографического управления генерал М. Е. Жданко. Сам ученый моряк и старый гидрограф, он, кажется, открывает новую эру в области на-

* Путешественник, первопроходец *(нем.).*

ших гидрографических исследований, а именно: *для крупных задач он употребляет достаточно крупные средства*. Прежде это делалось у нас не так. Прежде гидрография русская, как, впрочем, и все отрасли морского, военного и вообще государственного дела, пребывали в полупараличе вследствие одной ужасной вещи: денег не было. То есть деньги-то были, но каким-то чудом они таяли в воздухе и исчезали, оставляя на производительные нужды иногда смехотворно малые суммки. Поэтому все наши производительные нужды и обслуживались всегда «на скромных началах», т. е. в условиях сокращенности и дешевки. Там, где нужна бывала экспедиция, назначали партию, где нужен был хороший паровой крейсер, давали старинную шхуну или давно выслуживший свой век тихоходный транспорт. Поэтому то обследование, которое можно было сделать в год, ухитрялись растягивать на десятки лет, причем сама описываемая природа успевала изменить свои очертания и формы. Насколько я знал покойного А. И. Вилькицкого и некоторых других гидрографов, они обладали достаточным героизмом, чтобы пройти по пути Норденшельда, Нансена и даже Пири с Шекльтоном и Амундсеном, только... у них не хватало средств этих счастливых иностранцев. По народной пословице у нас на грош хотели купить пятаков, но это очень плачевная хитрость. Экспедиция храброго Седова доказала еще раз, до чего опасна грошовая экономия, а экспедиция г. Вилькицкого-сына доказала, как выгодна роскошь хорошей подготовки. Для открытия Северного полюса мы ничего не придумали лучшего, как купить старую и слабую шхуну «Foca» (что значит по-латыни «тюлень»), перекрестить ее в «Св. Фоку», кое-как снарядить на скудные общественные пожертвования и пустить к полюсу. Коротко и просто! Покойный Вилькицкий-отец был против такой постановки дела. Когда ко мне в Царское Село приезжал два раза Седов, а также после его памятного доклада в зале армии и флота я откровенно высказывал ему, что *не верю* в успех его путешествия. И супруге его я говорил то же самое: не отпускайте мужа. И в «Нов. Времени» писал тоже: сочувствую, но не верю, ибо путешествия к полюсу совсем не так делаются, не так подготовляются.

К глубокому сожалению, наши с А. И. Вилькицким предчувствия оправдались. Экспедиция Седова конч-

лась трагически, а экспедиция молодого Вилькицкого кончилась блестяще. Почему? Потому только, что на первую экспедицию пожалели средств, а на вторую не пожалели. Послали не одно судно, а целый небольшой отряд, и суда дали хорошие, со специально полярными обводами, с сильными машинами и ледоломами, и команду подобрали превосходную, и припасов захватили с избытком. Не пренебрегли даже такими тонкостями, как радиотелеграф и гидроплан. Именно эти-то новшества и оказались спасительными, оказывая ни с чем не сравнимые услуги. Уже одна возможность сообщаться с отечеством и не чувствовать себя потонувшими в пространстве несказанно должна была бодрить наших моряков. Героизм их был *вооружен*. О, какое это волшебное сочетание! О, какая трагическая разница — герой, надеющийся на свой меч, или лишенный его!

Вот почему, поздравляя от всего сердца наш флот с блестящим, хоть и мирным подвигом фл.-ад. Вилькицкого, я думаю, что следует помянуть добром и то учреждение, которое оборудовало эту экспедицию как следует. Пусть это «как следует» останется лозунгом и в дальнейшей карьере даровитого моряка, и в дальнейшей карьере флота. Ведь если бы наш флот одиннадцать лет тому назад был оборудован как следует, не было бы и тогдашней войны. Не было бы, вероятно, и теперешней. На вооруженную как следует Россию не отважился бы напасть ни один враг, ни с востока, ни с запада.

МУЗЕЙ ВОЙНЫ

3 октября 1915 г.

Императорское общество ревнителей истории основывает музей текущей войны. Мысль о нем, естественно, возникла из блестяще удавшейся выставки трофеев, устроенной тем же обществом в здании Адмиралтейства в течение этого лета. Зачатие музея уже положено в виде небольшой коллекции ружей, сабель, касок, предметов снаряжения и некоторых документов войны. Когда по России распространится весть об устройстве в Петрограде всероссийского музея войны, нет сомнения, в него будут направлены весьма значительные собрания разного рода предметов, имеющих то или иное прикосновение к войне. Затруднять будет, вероятно, не недостаток, а изобилие вещей. Нелегко будет разобраться в них и разместить в осмысленном порядке, отвечающем самой цели музея. Спрашивается, в чем же именно цель музея? И достаточно ли выяснены почтенным обществом необходимые средства?

Судя по докладам и прениям на последних заседаниях общества (Симеоновская, 1, клуб общественных деятелей), не вполне еще определены ни цели, ни средства музея, и это вполне естественно. Я думаю, не следует даже и гнаться за точнейшим выяснением тех и других. Не следует забывать беспощадного свойства времени — почти мгновенно поглощать прошлое, как море поглощает следы всех происшествий на его поверхности. Чтобы убедиться в этом жестоком свойстве времени, зайдите в Суворовский музей у Таврического сада. Не поразительно ли, до какой степени мало сохранилось материальных остатков даже от этой эпопеи нашей военной истории, от эпохи бессмертной и неповторимой! Коллекции Суворовского музея изумляют нищетой и случайностью материала и явной недостаточностью его для того, чтобы иллюстрировать гений самого Суворова и героизм его чудо-

богатырей. Почти то же можно сказать и о крайне бедном Севастопольском музее, хотя он, казалось бы, имел исключительную возможность быть богатым, ибо основан вскоре после войны среди самых развалин знаменитого города. Еще менее хорошего можно сказать о музее 1812 года, которого, кажется, еще не существует, ибо коллекции его пребывают в ящиках. До какой степени трудно собирать памятные материалы о великих событиях и людях, свидетельствуют крохотные коллекции вещей, оставшихся после Петра Великого, Пушкина и Лермонтова в Петрограде. Все мы помним последнего из наших великих людей — Льва Толстого, скончавшегося так недавно. Жива еще вдова его и дети, цела усадьба, где он жил. Музей его имени стал составляться, можно сказать, еще при жизни Толстого, ибо с каждого письма его, с каждой рукописи снимались копии, с каждой позы великого человека снимались фотографии и пр. и пр. И что же? Толстовский музей вышел все-таки очень жалким и малоговорящим в сравнении с личностью и деятельностью самого Толстого. Может быть, это участь всех музеев, ограждающих память прошлого: последнее слишком огромно в сравнении с настоящим и в него невместимо. Но, зная это, необходимо еще в настоящем отбирать все характерное для нашей эпохи и сохранять для будущего.

Переходя от общих соображений к практике дела, нельзя посоветовать ничего лучшего, как собирать *все*, что бы ни предложили со стороны, и затем, разобравшись, оставить лишь характерное. В будущем, несомненно, музей должен быть организованным учреждением, а не просто кладовой старьевщика. Если органический план музея сейчас еще и не может определиться, то все-таки главные его координаты, или, так сказать, оси кристаллизации его, могут быть намечены. Я думаю, в самом же начале учреждения музея нужно поставить целью, чтобы он удовлетворял не только любопытству публики, но и любознательности ученых. Для Императорского общества ревнителей истории важно облегчить будущим историкам исследование и понимание столь колоссального исторического факта, какова эта война. Так как нельзя представить себе музея войны без трех необходимых отделений: архива, библиотеки и особого института, разрабатывающего содержание музея, — то вот уже сами собою

намечаются четыре главных центра организации этого учреждения. Кроме учредительного комитета и администрации по сбору и охранению памятников войны, нужно в самом начале предвидеть необходимость группы лиц, занимающихся описанием и изучением этих памятников, необходимость особого издания и, может быть, особой аудитории для публики. Странно было бы собирать огромные средства, если не сводить их к основной цели. Целью же музея должно быть великое поучение, какое может дать эта война человеческому роду, и в частности русскому племени, на плечи которого легла главная тяжесть кровавого урагана.

Один из грубейших предрассудков относительно истории тот, что изучение ее должно быть предоставлено внукам и правнукам изучаемой эпохи. Современники будто бы не в состоянии судить о совершающихся событиях беспристрастно. Чтобы охватить события всесторонне, необходимо отойти от них на значительное расстояние. Мне кажется, некоторая доля справедливого в этом требовании есть, но очень небольшая. Дело в том, что безопасно и даже полезно отходить на некоторое расстояние от предметов *видимых* и все время остающихся на виду. Так, силуэт огромного здания виден десятки верст, и идея его яснее издали, нежели вблизи. Но можно ли применить это к предметам *невидимым,* исчезнувшим вместе со своей эпохой? Я думаю, что, чем дальше отходить от исторических событий, тем они становятся туманней, — наконец, они совсем погружаются за горизонт, в забвение вечное. Остаются не самые события, а свидетельства о них, и чем непосредственнее эти свидетельства в смысле личного наблюдения, тем дороже. И на суде истории, как на суде уголовном, самые драгоценные свидетели — это очевидцы происшествия. Мы, наше поколение, живые свидетели и очевидцы совершающихся событий, и на наших впечатлениях будет базироваться потомство в приговоре о мировой войне...

НАКОПЛЕНИЕ И УДАР

14 ноября 1915 г.

Если, как я писал недавно, современная война имеет машинный характер и всецело зависит от количества машинной энергии, вложенной в единицу времени, то этим объясняются некоторые важные особенности и немецкой тактики и стратегии. По самой природе машинной работы энергия должна накопляться непременно в достаточном количестве, прежде чем быть способной к заданному действию. Если, например, по мере образования пара выпускать его в пространство, то никакой полезной работы не получится. Вот почему у немцев, как у инициаторов и дирижеров чудовищной войны, на всем протяжении ее проходит основной принцип: *сначала накопление сил, потом удар.*

Более или менее продолжительные затишья военных действий у немцев никогда не означают бездействия. За передовыми демонстративными боями, имеющими часто характер театрального занавеса, скрывается всегда кипучая подготовка к следующему акту драмы. Если и не всегда слышен стук плотников и декораторов, то можете быть уверены, что за кулисами ни один антракт не проходит праздно. Нынешнее сравнительное затишье по всему нашему фронту есть, конечно, затишье призрачное. Мы не знаем в точности, что делается у немцев в нескольких верстах от окопов, и в особенности трудно видеть общую картину их глубокого тыла, но и характер немецкой нации, и характер ею поставленной мировой трагедии таковы, что предполагать «зимний отдых» для их армии, вроде перерыва парламентской сессии, не приходится. Полезнее думать, что немцы работают, работают лихорадочно, с методическим, как всегда, но в то же время крайним напряжением сил. Что же они делают? Вопрос, не правда ли, интересный. С ним в теснейшей связи стоит другой вопрос: что мы должны делать, дабы ис-

пользовать драгоценные месяцы зимней передышки с наивозможной пользой?

«Корни явления лежат не глубоко», — сказал мудрец, и самые рациональные ответы всего чаще — наиболее простые. На вопрос о том, что делают немцы на зимнем положении, всего правдоподобнее ответить так: *они готовятся*. Они накапливают силы. Они подвозят к фронту бесчисленное количество снарядов, патронов, орудий, пулеметов, броневых автомобилей, автоматов, минометов, бомбометов, фугасов, ручных гранат, баллонов с удушливыми газами и пр. и пр. Все это постепенно, как было в Галиции у Макензена или на Бзуре у Гинденбурга, накапливается в виде поражающей ураганной тучи, в виде стихийного тарана, который имеет обрушиться на наш фронт с оживлением кампании весной 1916 года. Преступные до мозга костей в отношении врага, немцы обладают очень важной добродетелью: любят свою шкуру. Поэтому они уважают сопротивление неприятелей и готовятся к нему чрезвычайно добросовестно. Можно быть уверенными, что ни один элемент силы, ни своей собственной, ни противника, не останется у немцев без надлежащего учета. Допуская это, трудно согласиться с мнением военного обозревателя «Русского Инвалида», будто «на северном двинском фронте наступательная энергия немцев прекратилась и без достаточной надежды на скорое ее возобновление». Вернее, мне кажется, было бы выразиться, что наступательная энергия немцев остановилась с *непременной надеждой* на ее возобновление весной.

Мелкие — теперешние бои, хотя и горячие, мне кажется, ничего не значат. Всего вероятнее, что это демонстративные бои, имеющие две определенные цели. Первая цель — заслонять свою подготовительную деятельность в тылу, держа неприятеля «sur le qui vive»*, как говорят французы. Вторая цель — не менее серьезная — заставлять неприятеля расстреливать елико возможно больше свои снаряды и патроны без серьезных для этого оснований. Для немцев теперь самое страшное, что есть на свете, это — накопление на русских позициях боевых орудий и припасов. Не будучи в состоянии остановить весьма расширившееся произ-

* Быть под постоянным наблюдением, быть на страже *(фр.)*.

водство наших военных заводов и подвоз оружия и снарядов из-за границы, немцы видят, что у них пока остался один способ понижать уровень нашей боеспособности,—это способ истощения боевых запасов посредством непрерывной стрельбы. Как муравьи щекочут концами усиков травяную тлю и заставляют выделять ее питательную для муравьев жидкость, так немцы на зимних позициях. Они ведут довольно хитрую активную оборону с целью, вероятно, главным образом тревожить русские войска и побуждать их тратить дорогие запасы. Надо думать, что эта провокационная тактика у нас уже замечена и против нее приняты меры.

Надо не забывать ни на минуту, что немецкая мобилизованная промышленность неизмеримо сильнее нашей, стало быть, как прежде, так и в ближайшем будущем немецкие войска превосходили и будут превосходить нас количеством снарядов и патронов. Часть этого превосходства они могут сознательно использовать на то, чтобы истощать нас малопроизводительной стрельбой и не давать накапливаться у нас большим запасам. В войне на истощение (la guerre d'asure *) следует как можно менее самим истощаться и как можно более истощать врага. Окончательную победу решает простая арифметическая разность между двумя запасами. Сравнительно очень небольшая разность, как в голосованиях парламента, определит ту или иную историческую резолюцию войны.

Если вникнуть прямо в трагическую необходимость для нас больших запасов, то этим достаточно объяснится известная скупость в расходовании боевых материалов, о которой, вероятно, придется услышать и в эту зиму. Разница выйдет та, что прошлою зимой боевых средств у нас действительно недоставало, а в нынешнюю их будет, может быть, вполне достаточно, но с нашей стороны все-таки станет применяться всевозможная экономия в их расходовании. Чем больше у нас накопится сил и средств к ближайшей весне, для генерального удара, тем превосходнее. Кроме патронов и снарядов, ураганное применение которых требует неисчислимых количеств, нужно помнить, что и сами орудия (ружья и пушки) полезно сохранить в сравнительной свежести к тому времени, когда загорится решительный бой. Если период затишья протянется око-

* Война на истощение *(фр.)*.

до пяти месяцев и будет заполнен мелкою, малозначащею перестрелкой, то и ружья, и пушки явятся к весне уже в значительной степени расстрелянными, т. е. утратившими большой процент своей меткости. Как многое заставляет думать, немцы окончательно остановились на теперешних позициях, как долговременных, на всю зиму, и если бы им даже представилась некоторая возможность отодвинуть нас еще дальше к востоку, то они едва ли охотно ею воспользуются. Решение благоразумное, ибо зимние позиции не такая вещь, чтобы можно было менять их каждый день. Тут окопы делаются глубже, снабжаются подземными казематами, землянками и пещерами, которые обставляются печами и необходимой мебелью. И сообщение между такими окопами на тысячеверстном, занесенном снегом, фронте гораздо труднее поддерживать, нежели летом. И самые боевые действия тепло закутанных людей, в наушниках и рукавицах очень затруднительны. Хотя военная история знает ряд блестящих диверсий именно зимою (например, переходы русских войск через Кваркен и через Балканы), но та же история показывает ряд и бедственных неудач зимой (вспомните, например, нашу битву под Сандепу). Тщательно оберегая себя от всяких «накладных расходов» войны, от всяких излишних трат и трудностей, немцы и на этот год, по-видимому, приостановят надолго свое вторжение в наши снега. А если так, то и нам представляется всего благоразумнее последовать их примеру, т. е. не переходить в наступление до весны. Если для них зимние условия тяжелы, то ведь и для нас они не легче. Если им нужно время для накопления сил, подготовляющих удар, то ведь и нам не в меньшей степени, скорее в гораздо большей. Если их войска утомлены пятимесячным походом, то и наши утомлены таким же отходом. Антракт войны, установленный удалением солнца за экватор, следует принять именно как антракт, использовав выгоды каждого антракта. Они огромны, если уметь их обнаружить и осуществить.

Есть и еще одно обстоятельство, побуждающее, как мне кажется, ожидать и даже желать зимой продолжительного затишья. Правило: «сначала накопление, а потом — удар» подсказывается нам не только нашими противниками, но и союзниками. Не одни немцы имеют выдержку долгими месяцами сидеть в окопах и не предпринимать решительных действий. Буквально той

же тактики долгих пауз придерживаются и французы, и англичане, и итальянцы. По-видимому, сама природа современной войны, сделавшейся машинной, требует именно такой системы. Так как немцы сознательно готовились к мировому разбою и подготовились лучше своих врагов, то для них доступен довольно сложный метод — стратегического наступления одновременно с тактической обороной. Нашим же союзникам и особенно нам, при сравнительной бедности боевых средств, приходится прибегать к позиционной войне по преимуществу. Французы и англичане, если верить их печати, за двенадцать месяцев пассивной обороны успели в высокой степени поднять производство своих снарядов, патронов, орудий, ружей, так что уже теперь и количественно, и качественно силы англо-французов превышают чуть не вдвое силы германцев. Тем не менее наши союзники, если не считать недавнего блестящего натиска в Шампани, продолжают оставаться в неподвижной позе. Можно думать, что именно этот опыт прорыва доказал нашим союзникам, что период накопления для них еще не прошел.

Нам очень полезно присматриваться к стратегии своих высококультурных союзников и врагов, и не только присматриваться, но и подражать ей. В смысле машинности, в смысле железной техники, западные народы следует счесть, конечно, нашими учителями. Там на целое столетие раньше нас целые поколения воспитывались в особой психологии, навеваемой машинным складом жизни. Там сложились, может быть, инстинкты, которых нам недостает, — а именно: вера в машину, надежда на машину, любовь к машине. Возобладанием этих инстинктов объясняется такое явление в истории, как Крупп, повторенное на заводах меньшего объема, но мировой известности, как Крезо, Шнейдер, Армстронг, Виккерс, Вестингауз и пр. Мы отстали в круппо-промышленности не потому, что она нам была не нужна. Опыт нескольких последних войн показал, что эта промышленность для нас была трагически необходима, но у нас она не развилась просто по недостаточному к ней вниманию, по отсутствию той особой воспитанности, которую дает человеку машина.

Мы не заметили того колоссального факта, что в современной войне более, чем когда-нибудь, не человек создает стратегию и тактику, а его оружие — военная машина. Я писал недавно (см. «Машинная война») о

летучих пулеметных командах у немцев, посаженных на автомобили. Задолго до войны уже чувствовалась громаднейшая роль пулеметов, приготовление которых очень просто и было вполне доступно нашим заводам. К сожалению, одни немцы учли во всей мере то обстоятельство, что изобилие ружей, пулеметов и артиллерии дает возможность формировать все новые и новые армии, подавляя врагов численностью на всех фронтах. По сведениям «Temps», из вполне достоверного источника, к сентябрю нынешнего года германцы довели число своих боевых частей до следующих размеров: 375 пехотных полков, 266 резервных, 29 эрзац-резервных, 350 ландверных, 122 батальона резервных бригад и их пополнений, 29 егерских резервных батальонов. Все эти части снабжены пулеметами по 12 на каждые три батальона, и сверх того сформировано 399 отдельных пулеметных взводов и 316 крепостных пулеметных взводов. Прибавьте к этому 130 полков полевой легкой артиллерии, 70 полевых артиллерийских резервных полков, 11 ландверных пеших артиллерийских полков, 25 ландверных батарей, 391 ландштурменную пешую батарею, 316 полевых гаубичных батарей, 6 тяжелых артиллерийских полков, 26 резервных полков тяжелой артиллерии, 5 ландверных батальонов и 3 отдельные ландверные батареи тяжелой артиллерии. В глазах рябит от этих цифр, но ими далеко не исчерпывается машинность немецкой армии. Сюда следовало бы прибавить новые оружия войны, появившиеся только нынче, — а именно: взводы прожекторов, 118 взводов минометов, корпус автомобильных лодок и целый сухопутный флот бронированных автомобилей.

Я уже писал о том, какой эффект производит появление на нашем фронте автоматов, десятков тысяч пулеметов, бомбометов, минометов и пр. Одними из главных козырей войны явились, как это ни странно, простой самодвижущийся грузовик и простая мотоциклетка. Еще за два года до войны некоторые проницательные военные люди настаивали у нас на введении так называемого «трактора» для крепостной артиллерии, но по недостатку машинной воспитанности мы тогда не обратили на это должного внимания. Между тем переворот, внесенный трактором в войну, колоссален. Прежде тяжелая крепостная артиллерия оставалась все время войны на своих местах, ибо не было ни-

каких сил передвигать ее по театру войны. Нынче такая сила явилась, — это паровой или автомобильный трактор. Он позволяет наступающей армии разоружать остающиеся в тылу армии крепости и подвозить тысячи тяжелых крепостных орудий к неприятельским позициям, чтобы громить их с сокрушительной силой. Именно это и дает до сих пор перевес германскому наступлению. Не чудовищные 42-сантиметровые «Берты», которых очень немного и которые требуют для передвижения целых поездов. «Таран», которым немцы пробивают любые крепости на пути, составлен главным образом из тысячей тяжелых крепостных орудий, подвозимых «тракторами». Тут одна сверхмашина цепляется, так сказать, за другую сверхмашину, и соединение целых полчищ таких глухонемых кавалькад дает удар невообразимой силы.

Менее грандиозна, конечно, служба другой — уже маленькой машины — мотоциклетки, но именно молниеносности ее армия обязана службой связи, столь важной для управления нынешними гигантскими армиями. Мотоциклетка оказалась машиной в некоторых отношениях более боевой, чем древний друг человека — лошадь. При фронте армий, растянутых на сотни верст, никакая кавалерийская лошадь, даже казачья, не в состоянии работать с тою же неутомимостью и быстротой, как 2,5-сильная мотоциклетка в два с половиной пуда весом. Как престарелые главнокомандующие не могли бы без автомобиля объезжать свои армии, так невозможна была бы связь дивизий и корпусов без мотоциклеток. Обобщая это явление, следует твердо помнить как первую и основную заповедь современной войны: *она невозможна без соответствующих машин.* Как невозможно современное распространение мысли без ротационной машины, так абсолютно невозможен желанный продукт войны — победа — без великого множества военных машин.

Я привел означенные выше цифры и соображения для того лишь, чтобы осветить главное правило войны: «сначала накопление сил, затем — удар». Вы видите, в чем особенно необходимо накопление. Оно необходимо не столько в людях, сколько в машинах. При прежнем крайне простом оружии единицей армии считался солдат («штык» или «сабля»). Но теперь эта единица решительно ничего не говорит. К каждой живой единице непременно должен показываться сложный машин-

ный коэффициент, в который входило бы относительное количество ружейного, пулеметного, орудийного и пр. металла, который данный человек в состоянии выпустить в минуту времени. Пока нет такого коэффициента, совершенно меняющего значение боевой единицы, нет никакой возможности судить об относительной силе армий. Одно ясно, что сила удара зависит от массы накопления этих коэффициентов. Будемте же в эти темные зимние дни и ночи, недоедая и недосыпая, напрягая все усилия до крайности, увеличивать и накоплять машинный коэффициент войны.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От составителя 3

1902 год

О здоровии народном 15
Всемирный союз 23
Замкнутое государство 31
На ту же тему 44
На великой страже 57

1905 год

Благодарность 68
Где строить флот? 79

1908 год

Памяти святого пастыря 91
Завещание отца Иоанна 98

1909 год

Молодежь и армия 105

1910 год

Воздушная оборона 113
Может ли Россия воевать? 128
Маниловщина в армии 135

1911 год

Хорошо ли стреляет армия? 150

1914 год

Национальный съезд 158
Гнев Господен 161
Истинно культурное ведомство 169
Дело нации 174
Красивая жизнь 179
Война и здравый смысл 185
Инвалидная психология 193

1915 год

Опасное соседство 200
Сильные люди 208
Музей войны 212
Накопление и удар 215

Михаил Осипович **Меньшиков**

ИЗ ПИСЕМ К БЛИЖНИМ

Редактор *О. А. Бобраков*
Редактор (литературный) *В. В. Квятковская*
Художественный редактор *А. Н. Жданов*
Технический редактор *М. В. Федорова*
Корректор *Н. М. Ретунская*

ИБ № 4283

Сдано в набор 18.12.90. Подписано в печать 21.03.91. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. новая. Печать высокая. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,18. Уч.-изд. л. 11,65. Изд. № 1/6388. Тираж 26 000 экз. Зак. 199. Цена 2 р.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата.
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.

2 р.





Михаил Осипович Меньшиков (1859—1918) проявил склонность к литературе еще в семидесятых годах прошлого века, когда обучался в Кронштадтском техническом училище. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, он публикует статьи в "Кронштадтском вестнике", петербургских журналах, в газете "Неделя". С 1900 года Меньшиков фактически заведовал "Неделей", печатался в газете "Русь", журнале "Русская мысль". Его литературно-критические и мировоззренческие статьи получили высокие оценки Лескова, Толстого, Чехова и других знаменитых современников, с многими из которых Меньшиков был близко знаком и сотрудничал.

С 1901 года Михаил Осипович работал в газете А.С. Суворина "Новое время", где еженедельно публиковал по три-четыре статьи, затем он выпускал их отдельными журнально-дневниковыми книжками под названием "Письма к ближним". Острый характер статей определялся общественно-политическим идеалом автора: крепкая власть с парламентским представительством и определенными конституционными свободами, способная защитить традиционные ценности России и оздоровить народную жизнь. Эта позиция вызывала крайнее раздражение как левой, революционной, так и ультраправой прессы.

С марта 1917 года Меньшиков не смог более работать в "Новом времени", т.к. газета стала испытывать сильное давление "слева".

Зиму 1917/1918 года Меньшиков с семьей провел в Валдае, где в первые месяцы новой власти работал конторским служащим. 20 сентября 1918 года известный русский журналист был расстрелян без суда и следствия выездной группой ЧК на берегу Валдайского озера напротив знаменитого Иверского монастыря.